

Уильям
ФОЛКНЕР



Дикие пальмы

Уильям Фолкнер

Ход конем

OCR Ustas spell&chek Busya

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156662

Уильям Фолкнер «Дикие пальмы», серия «Библиотека первого перевода»: Гуманитарное агентство «Академический проект»; Санкт-Петербург; 1997

Аннотация

В повести «Ход конем» детективный сюжет искусно переплетен с любовной интригой.

На русском языке книга публикуется **ВПЕРВЫЕ**.

Содержание

I	4
II	58
III	88
IV	122
V	146

Уильям Фолкнер

Ход конем

I

Кто-то из них постучал. Но дверь распахнулась, пока стук еще продолжался, она вырвалась из-под костяшек пальцев стучавшего, так что, когда он – Чарльз – и его дядя подняли глаза от шахматной доски, оба гостя были уже в комнате. Тут-то дядя их и узнал.

Это были Гарриссы. Брат и сестра. С первого взгляда они могли показаться близнецами, – причем не только посторонним, но и большинству джефферсонцев. Ибо во всем округе Йокнапатофа едва ли даже десяток жителей знал, кто из них старше. Они жили в шести милях от города, на участке земли, что двадцать лет назад был самой обыкновенной плантацией, где выращивают хлопок на продажу, да еще кукурузу и сено на корм мулам, с помощью которых этот хлопок производится. Но теперь эта квадратная миля земли являла собою достопримечательность округа (как, впрочем, и всего Северного Миссисипи) – пастбища, обнесенные белыми изгородями из жердей и досок, конюшни с электрическим све-

том и некогда простой сельский дом, ныне преобразенный в нечто чуть поменьше голливудского макета довоенного¹ плантаторского особняка.

Оба вошли и остановились – розовые, юные, холеные, раз-
румянившиеся от вечерней декабрьской стужи. Дядя под-
нялся.

– Мисс Гаррисс, мистер Гаррисс, – начал он. – Впрочем,
вы уже здесь, и я не могу...

Но юноша и этого не стал дожидаться. Теперь он – Чарльз
– увидел, что юноша держит сестру – не за плечо, не за ло-
коть, а за руку над запястьем – словно на старинной литогра-
фии, изображающей полицейского со съезжившимся арестан-
том или опьяненного победой воина с перепуганной пленни-
цей-сабинянкой. И только тогда он увидел лицо девушки.

– Вы – Стивенс, – начал юноша. Он даже не требовал от-
вета. Он просто констатировал факт.

– Это отчасти верно, – отозвался дядя. – Но не в этом
дело. Чем я могу...

Однако юноша и этих слов не стал дожидаться. Он повер-
нулся к девушке.

– Это Стивенс, – объявил он. – Расскажи ему.

Но она молчала. Она просто стояла, в вечернем платье и
в меховой шубе, – цена их во много раз превышала сумму,
о какой ни одна девушка (или женщина) в Джефферсоне и в

¹ Имеется в виду американская война Севера с Югом 1861 – 1865 гг. (*прим.,
перев.*).

около Иокнапатофа не могла даже и помыслить, – стояла, не сводя с его дяди воспаленного взгляда. На лице ее застыло выражение страха, ужаса или невесть чего еще, а на запястьях все белее и белее выделялись костяшки пальцев юноши.

– Расскажи ему, – повторил юноша.

И тогда она заговорила. Еле слышно.

– Капитан Гуальдрес. В нашем доме...

Дядя сделал несколько шагов в их сторону. Теперь Он тоже стоял посреди комнаты и смотрел на девушку.

– Да, – проговорил он. – Расскажите мне.

Казалось, однако, что этим внезапно иссякшим порывом все и ограничилось. Она просто стояла, пытаясь сказать что-то – что бы там ни было – одними глазами, сказать его дяде, а впрочем, и им обоим, поскольку он ведь тоже находился здесь. Правда, они довольно быстро узнали, что именно она собиралась сказать или, по крайней мере, что юноша хотел заставить ее сказать, за руку притащив ее для этого в город. Или, по крайней мере, что, как он – Чарльз – думал, она хотела сказать. Ведь он должен был тогда знать, что его дядя наверняка уже знает больше, чем юноша или девушка еще только собирались сказать, а может, он уже тогда знал всё. Но пройдет еще какое-то время, прежде чем он окончательно это поймет. А доходило это до него так медленно только из-за дяди.

– Да, – сказал юноша тем же голосом и тоном, каким он отказывал человеку старше себя в знаках вежливости или

уважения к возрасту, а он – Чарльз – наблюдал за юношей, тоже не сводившим взгляда с его дяди. Черты лица юноши были такими же тонкими, как у его сестры, но в выражении глаз никакой тонкости не было. Они – эти глаза – вперились в дядю, даже не стараясь выразить настойчивость, они просто ждали. – Капитан Гуальдрес, так называемый гость нашего дома. Мы хотим вышвырнуть его из нашего дома, а заодно и из Джефферсона.

– Понятно, – сказал дядя. И добавил: – Я состою в местной призывной комиссии. Что-то не припомню, чтобы ваша фамилия значилась в списках.

Но взгляд юноши ничуть не изменился. В нем даже не было презрения. Он просто ждал.

И тогда дядя посмотрел на сестру; голос его теперь звучал совсем по-другому.

– И в этом все дело? – спросил он.

Но она ничего не ответила. Она просто не сводила с дяди отчаянного взгляда; рука ее свисала вдоль тела, а на запястье белели костяшки пальцев брата. Теперь дядя заговорил с юношей, хотя все еще наблюдал за девушкой, и голос его звучал все еще ласково или, во всяком случае, спокойно:

– Почему вы пришли ко мне? С чего вы взяли, что я могу вам помочь? И чего ради?

– Вы тут кто – представитель Закона или нет? – сказал юноша.

Дядя все еще наблюдал за его сестрой.

– Я окружной прокурор. – И обращался он все еще к ней. – Но если б я даже имел возможность, чего ради я стал бы вам помогать?

Ответил, однако, снова юноша.

– Потому что я не позволю какому-то ничтожному латиноамериканскому авантюристу жениться на моей матери.

Теперь ему – Чарльзу – показалось, будто дядя в первый раз по-настоящему посмотрел на юношу.

– Понятно, – сказал дядя. Теперь дядин голос изменился. Он не стал громче, просто в нем уже не звучала ласка, словно дядя в первый раз смог заговорить (или, во всяком случае, заговорил) не с сестрой, а с братом. – Это ваше дело и ваше право. Я опять вас спрашиваю: чего ради я должен что-то по этому поводу предпринимать, даже если б я и мог?

И теперь они оба – его дядя и юноша – заговорили быстро и отрывисто, словно, стоя лицом к лицу, отпускали друг другу оплеухи.

– Он был помолвлен с моей сестрой. Когда он узнал, что деньги останутся у нашей матери до конца ее жизни, он переметнулся.

– Понятно. Вы хотите применить федеральные законы о высылке нежелательных иностранцев, чтобы отомстить человеку, который нарушил обещание жениться на вашей сестре.

На этот раз даже юноша не нашелся, что ответить. Он просто смотрел на старшего с такой холодной, сдержанной, бес-

конечную злобой, что он – Чарльз – увидел, как дядя и в самом деле на мгновение остановился, прежде чем снова повернуться к девушке и заговорить с ней – опять ласковым тоном, хотя даже теперь дяде пришлось повторить свой вопрос, прежде чем она ответила:

– Это правда?

– Мы не помолвлены, – прошептала она.

– Но вы его любите?

Однако юноша даже не дал ей времени, он никому не дал времени.

– Что она смыслит в любви? – сказал он. – Вы возьметесь за это дело или мне придется жаловаться на вас вашему начальству?

– Вам не кажется, что вы сильно рискуете, покидая свой дом на столь длительный срок? – сказал дядя кротко. Этот тон был ему – Чарльзу – хорошо знаком: если бы дядя заговорил таким тоном с ним, у него бы волосы встали дыбом. Но юноша и глазом не моргнул.

– Скажите это по-человечески, если можете, – потребовал он.

– Я не возьмусь за ваше дело, – отвечал дядя.

Юноша еще с минуту смотрел на него, держа девушку за руку. Потом ему – Чарльзу – показалось, что юноша сейчас сдернет ее с места и попросту вытолкает за дверь. Однако он даже выпустил сестру, собственноручно (не дожидаясь, пока хозяин, владелец двери, через которую он уже один раз

прошел безо всякого позволения, не говоря о приглашении, ее откроет) открыл дверь, потом посторонился, пропуская девушку вперед, – пантомима, некий знак уважения и учтивости, пусть даже и машинальное следствие привычки и полученного еще в раннем детстве воспитания – долгой привычки и первоклассного воспитания, приобретенных под руководством первоклассных преподавателей, учителей и знатоков правил поведения в том кругу, который дамы округа Йокнапатофа безусловно называли бы избранным. Но теперь это не имело значения – осталось лишь высокомерие – развязное, оскорбительное не только для человека, которому оно было адресовано, но также и для всех, кто это видел; он даже не смотрел на сестру, перед которой распахнул дверь, а все еще не сводил глаз с человека вдвое старше себя, неприкосновенность жилища которого он теперь нарушал уже вторично.

– Отлично, – сказал юноша. – Не вздумайте говорить, что вас не предупреждали.

Потом они ушли. Дядя закрыл дверь. Но еще мгновение дядя не двигался с места. Это была пауза, задержка, почти бесконечно малый миг неподвижности, столь краткий и бесконечно малый, что навряд ли кто-нибудь, кроме него – Чарльза, – обратил бы на него внимание. Да и он заметил этот миг лишь потому, что никогда прежде не видел, чтоб его дядя, этот нервный, стремительный, щедрый на слова и на движенья человек, раз начав что-либо говорить или де-

лать, вдруг заколебался и запнулся. Потом дядя повернулся и возвратился туда, где он, Чарльз, продолжал сидеть за шахматной доской, даже не успев отдать себе отчет – до того стремительно все это произошло, – что сам он не только не встал с места, но навряд ли успел бы встать, если б ему даже это и пришло в голову. Не исключено, что он слегка разинул рот (ему еще не стукнуло восемнадцать, а ведь даже человек, наделенный дядиным чутьем к опасности, признает, что даже и восемнадцатилетний может – пусть изредка – попасть в такое положение, когда ему наверняка не удастся или просто не понадобится сразу понять суть дела при виде того, как кто-то снимает шляпу или хлопает дверью), когда сидел за недоигранной шахматной партией и смотрел, как дядя возвращается к своему стулу, садится и начинает откидываться на спинку и протягивать руку за опрокинутой кукурузной трубкой, лежащей на подставке, – и все это одним махом.

– Предупреждали? – спросил он.

– Он назвал это так, – сказал дядя; он окончательно уселся, поднес ко рту мундштук трубки и уже вынул спичку из коробка, лежащего на поставке, так что, раскуривая погасшую трубку, он как бы продолжал свое возвращение от двери. – Лично я назвал бы это угрозой.

И он повторил то же самое, возможно, все еще с разинутым ртом.

– Ладно. А ты бы как это назвал? – сказал дядя; чиркнув спичкой и тем же взмахом руки поднеся пламя к остывшему

в трубке пеплу, он продолжал говорить сквозь мундштук в полую форму невидимых клубов дыма – пройдет еще секунда или две, прежде чем он осознает, что закурить ему теперь осталось только спичку.

Потом дядя бросил спичку в пепельницу, а другой рукой сделал ход, несомненно задуманный им задолго до того, как послышался стук в дверь, на который он опоздал, или во всяком случае не успел отозваться или даже просто сказать: «войдите». Он сделал этот ход даже не глядя, он передвинул пешку, поставив Чарльзову ладью под удар свой туры – видимо, еще задолго до возникновения этого плана дядя не сомневался, что он, Чарльз, забыл за нею проследить, после чего, продолжая спокойно сидеть – худошавое подвижное лицо, копна преждевременно поседевших волос, ключик Фи Бета Каппа, десятицентовая кукурузная трубка и костюм, у которого был такой вид, словно его хозяин спал в нем каждую ночь с тех пор, как его приобрел, – он передвинул свою пешку и сказал: – Твой ход.

Однако он, Чарльз, вовсе не был настолько глуп, хоть рот его и был слегка разинут. По правде говоря, он даже не особенно удивился после первого шока, вызванного этим вторжением, столь внезапным и столь неучтивым, да еще в такой поздний час и в такой холод: юноша, несомненно, за руку протащил девушку прямо через парадный ход, не дав себе труда ни позвонить, ни постучать, потом через чужую прихожую, которую если он когда и видел прежде, то лет семна-

дцать или восемнадцать назад, будучи еще грудным младенцем; подтащил к чужой двери, на сей раз и впрямь постучал, но, не дожидаясь ответа, ворвался в комнату, где – знал он о том, не знал или просто знать не хотел – его, Чарльзова, мать могла как раз раздеваться, готовясь ко сну.

Но удивил его именно дядя – этот бойкий на язык, говорливый человек, который говорил так много и так бойко, особенно о предметах, абсолютно его не касавшихся, что это явно свидетельствовало о раздвоении его личности: одна его половина – юрист, окружной прокурор, ходил, дышал, вытеснял воздух, другая же – голос, неутомимый и ровный, до такой степени неутомимый и ровный, словно, утратив всякую связь с действительностью, он читает вслух не просто какую-то безделку, а серьезное произведение изящной словесности.

Однако два чужих человека ворвались не только в его дом, а в его собственную гостиную и произнесли сначала категорический приказ, затем угрозу, после чего стремительно вырвались из дома, а дядя спокойно возвратился к шахматной партии, которую ему помешали доиграть, и к трубке, которую ему помешали докурить, и сделал задуманный еще раньше ход, словно не только не заметил никаких помех, но словно ему вообще никто не мешал. И все это в обстоятельствах, которые должны были дать простор и пищу дядиной неукротимой многоречивости до конца вечера, – ведь из всех возможных вещей, которые могли бы явиться в эту ком-

нату с самых дальних концов округа, меньше всех касалась его именно эта: домашние недоразумения, затруднения или свары в доме, расположенном в шести милях от города, четверо владельцев или, во всяком случае, обитателей которого были едва ли знакомы хотя бы десятку жителей округа настолько, чтобы просто заговорить с ними на улице, – богатая вдова (по утверждению округа, миллионерша), слегка увядшая, но все еще миловидная женщина лет под сорок; двое избалованных детей-погодков лет двадцати от роду и гость, армейский капитан из Аргентины, – все четверо, включая даже иностранного авантюриста, ни дать ни взять стандартные персонажи романа, печатающегося с продолжениями в популярном журнале.

Вот почему (хотя, чтоб убедить в этом его, Чарльза, потребовалось бы нечто гораздо большее, чем даже неправдоподобное дядино молчание) дяде вовсе не было нужды на эту тему говорить. Ведь уже двадцать лет, даже задолго до появления каких-либо детей, не говоря о чем-либо, способном привлечь иностранного авантюриста, округ следил за развитием этих событий – так подписчики читают роман, нетерпеливо ожидая выхода очередного номера журнала.

Эти двадцать лет охватывали время, когда и его, Чарльза, тоже еще не было. Тем не менее они принадлежали ему, он их унаследовал, в свою очередь получил их по наследству, как получил бы по наследству от отца и матери (в свою очередь получивших ее по наследству) книжную полку в ком-

нате, расположенную через прихожую от той, где он сейчас сидел с дядей, полку с книгами – не с теми, что выбрал или в свою очередь получил в наследство от своего отца его дед, а с теми, что выбирала и покупала его бабушка, когда раз в полгода приезжала в Мемфис, – темные тома, изданные еще до появления ярких суперобложек: на их форзацах можно было прочесть выцветшие надписи, выведенные аккуратным почерком выпускницы семинарии для молодых девиц, – имя его бабушки, ее адрес и даже адрес магазинов или лавки, где она их купила, а также даты, относящиеся к девяностым годам прошлого века и к началу нынешнего, – тома, которые обменивали, давали почитать и возвращали, которые становились темой докладов на очередном собрании литературного клуба; их пожелтевшие страницы даже сорок и пятьдесят лет спустя хранили отпечатки засушенных и исчезнувших цветов; по ним чинно двигались благовоспитанные тени мужчин и женщин, давших имена целому поколению, – Клариссы, Джудит, Маргариты, Сентэлмо, Роланды и Лотэры – женщины, которые всегда были леди, и мужчины, которые всегда были храбрецами, двигались в каком-то бессмертном лунном свете без тоски и без боли, начиная с рождения, не запятнанного непотребством, до смерти, не затронутой тленом, так что и вы могли бы вместе с ними плакать, вовсе не обязательно страдая или сокрушаясь, вместе с ними ликовать, вовсе не обязательно одерживая верх или торжествуя победу.

Таким образом эта легенда тоже принадлежала ему. Он даже получил часть ее непосредственно от бабушки, просто слушая, что неизбежно случается в детстве, и оставляя в стороне мать, которой в каком-то смысле тоже отводилась в ней роль. И до нынешнего вечера она – легенда – даже оставалась столь же безобидной и нереальной, как эти старинные пожелтевшие тома: старинная плантация в шести милях от города, которая была старинным поместьем уже во времена его бабушки, – небольшое по площади, но с плодородной и как следует ухоженной и обработанной землею; на ней дом – тоже небольшой, просто дом, жилище, скорее спартанское, нежели комфортабельное даже для тех дней, когда люди желали комфорта, нуждались в нем лишь потому, что проводили в своих домах какое-то время; вдовец-владелец, который остался дома и вел хозяйство на унаследованной им земле; долгими летними вечерами, сидя в самодельном кресле у себя на веранде, он читал по-латыни римских поэтов; под рукой у него стоял неизменный бокал разбавленного виски, а у ног дремала старая собака-сеттер; ребенок, дочка, оставшаяся без матери девочка, которая выросла в этом почти монастырском уединении без компаньенок и подруг, совершенно одинокая, если не считать нескольких чернокожих служанок и уже немолодого отца, который (опять же по утверждению города и округа) не обращал на нее почти никакого внимания и который, разумеется, никогда не говоря ни слова никому, тем более девочке, а может, даже и самому себе, все

еще считал рождение дочери причиной смерти жены, которая несомненно была единственной любовью всей его жизни; а она (девочка) в возрасте семнадцати лет, не предупредив никого, во всяком случае, никого из жителей округа, вышла замуж за человека, о котором никто в этой части Миссисипи прежде и слыхом не слыхал.

Но было и еще кое-что: приложение или, во всяком случае, добавление; легенда по поводу, внутри или на заднем плане настоящей, подлинной или первоначальной легенды; апокриф об апокрифе. Он, Чарльз, не только не мог вспомнить, слышал ли он об этом от матери или от бабушки, он не мог даже вспомнить, видели ли это его мать или бабушка своими глазами, узнали ли об этом из первых рук или сами от кого-то услышали. Речь шла о какой-то прежней связи, еще до свадьбы – о помолвке, об обручении по всей форме, с формального (так гласила легенда) согласия отца, о помолвке, позже отмененной, нарушенной, не состоявшейся, или о чем-то в этом роде – еще до того как человек, за которого она потом вышла замуж, вообще появился на сцене, – об обручении, согласно легенде, по всей форме, но столь неопределенном, что даже двадцать лет спустя, после того как сидевшие на верандах сплетники, которых его дядя называл йокнап-атофскими старыми девами обоего пола, в течение двадцати лет укутывали романтической тогой плечи каждого мужчины моложе шестидесяти лет, из тех, кто когда-либо выпил рюмку с ее отцом или купил у него кипу хлопка,

спустя эти самые двадцать лет второй участник упомянутой помолвки все еще не имел не только имени, но даже и лица – их, по крайней мере, имел другой человек, незнакомец, хотя он и явился без предупреждения прямо ниоткуда и женился на ней, так сказать, одним махом, одним духом, не оставив ни времени, ни места для чего-то, обозначаемого столь пустым словом, как помолвка, не говоря об ухаживании. Таким образом, это событие – первая, другая, настоящая помолвка, достойная такого названия по той простой причине, что она не имела иных последствий, кроме эфемерных апокрифических примечаний, уже поблекших, как-то: аромат, тень, шепот, девичье «да» на аллее старинного сада в сумерках, цветок, которым обменялись или сохранили на память, и не осталось ничего, кроме, быть может, этого самого цветка, розы, засушенной между страницами книги по обычаю представительниц поколения, сменившего поколение его, Чарльзовой, бабушки, – это событие, вероятно, было, несомненно должно было быть последствием какого-то сговора между мальчиком и девочкой, когда она еще ходила в школу. Однако в нем несомненно было замешано какое-то лицо в Джефферсоне или, во всяком случае, в округе. Ведь она до сих пор не бывала ни в каком месте, где могла бы скрепить каким-либо обязательством свои симпатии, а потом их утратить.

Но у этого мужчины (или мальчика) не было ни лица, ни имени. В сущности, у него не было никакой материальной

субстанции. У него не было ни прошлого, ни вчера; герой вообразимого романа молодой девушки, он был тенью, призраком, столь же нетронутым и чистым, сколь сама эта девственная затворница. Даже те пять или шесть девиц (одной из них была его, Чарльзова, мать), которые с наименьшей натяжкой могли считаться ее подругами в течение трех или четырех лет, проведенных ею в женской половине Академии, не были уверены в существовании помолвки, не говоря о человеке, являвшемся вторым ее участником. Ибо сама она о помолвке никогда не говорила, и даже слух, беспочвенная легенда о легенде, возник скорее всего из случайного замечания, которое однажды обронил ее отец и которое само вошло составной частью в легенду, насчет того, что шестнадцатилетняя девочка, ставшая соучастницей помолвки, подобна слепцу, ставшему совладельцем подлинной рукописи Горация.

Но у дяди, по крайней мере, была причина не рассказывать об этой части легенды, потому что дядя узнал о первом обручении лишь два или три года спустя, да и то из вторых рук. Потому что его – дяди – там в то время не было: шел 1919 год, и Европа – то есть Германия – была снова открыта для студентов и туристов со студенческими визами, и дядя уже уехал обратно в Гейдельберг кончать диссертацию на звание доктора философии, а когда он через пять лет возвратился, девочка была уже замужем за другим человеком, за тем, кто имел и лицо, и имя, пусть даже ни один житель

города или округа не видал первого и не слышал о втором чуть ли не до тех пор, пока новобрачные не обвенчались и не произвели на свет двоих детей, после чего она уехала с ним в Европу, а о том, прежнем, предмете, который в сущности никогда не был ничем, кроме тени, забыли даже в Джефферсоне, – разве что у шестерых единственных ее подруг, собравшихся по какому-то неясному поводу за чашкой кофе или чая или дамского пунша, возникло в памяти какое-то неясное воспоминание (оно стало еще более неясным, когда у них появились собственные плетеные колыбельки).

Итак, она вышла замуж за человека, чужого не только в Джефферсоне, но и во всем Северном Миссисипи, а может, и во всей остальной части Миссисипи – насколько это кому-нибудь было известно – и о котором город знал лишь то, что он не был материализовавшейся наконец безымянной тенью другого романа, никогда не появлявшегося на свету достаточно ярком, чтобы в нем могло участвовать двое настоящих живых людей. Ведь не было никакого обручения – затянувшегося или отложенного до тех пор, пока невеста не станет на год старше; а его – Чарльзова – мать говорила: стоит хоть разок посмотреть на Гаррисса, и сразу станет ясно, что он никогда не отступит ни на йоту и не уступит никому ни йоты из того, что считает своим.

Он был старше невесты более чем вдвое и по возрасту вполне мог быть ее отцом – крупный, вульгарный, обходительный, смешливый человек, глядя на которого вы сразу за-

мечали, что глаза его не смеются; вы очень быстро замечали, что глаза его не смеются, и потому лишь позже осознали, что смех вообще никогда не распространялся намного дальше его зубов, – человек, обладавший тем, что дядя называл прикосновением Мидаса, и, по словам дяди, окруженный ореолом грабителя вдов и несовершеннолетних, подобно тому, как иные бывают окружены ореолом неудач и смерти.

По правде говоря, дядя утверждал, будто весь сюжет был перевернут с ног на голову. Он – его дядя – опять возвратился домой, теперь уже навсегда, а его сестра и мать, то есть мать и бабушка Чарльза (и все другие женщины, которых ему, наверное, невольно приходилось слушать), рассказали ему о свадьбе и о другой, призрачной помолвке, что уже само по себе должно было развязать дядин язык, если этого не сделало нарушение неприкосновенности его жилища; именно по той причине, что эта история не просто не имела отношения лично к нему, она имела столь ничтожное отношение к действительности вообще, что в ней не содержалось ничего, способного поставить его – дядю – в тупик или как-то ограничить.

А он, Чарльз, хотя уже почти два года не бывал у бабушки в гостиной, в своем воображении мог увидеть, как дядя, точно такой же, каким он был раньше и каким останется всегда, сидит возле бабушкиной скамеечки для ног и кресла-качалки, с кукурузной трубкой, снова набитой специальным таба-

ком для белых, и пьет кофе (бабушка терпеть не могла чай и говорила, что его пьют только больные), сваренный для них его, Чарльзовой, матерью; мог увидеть дядино худощавое подвижное лицо, копну спутанных волос, которые уже начали сесть, когда он в 1919 году вернулся домой после трех лет службы санитаром во французской армии и провел ту весну и лето, не делая ничего, о чем бы хоть кто-нибудь знал, а после уехал обратно в Гейдельберг заканчивать диссертацию на звание доктора философии; мог услышать дядин голос, который беспрерывно говорит – не потому, что его хозяин любит разговаривать, а потому, что знает пока он говорит, никто не сможет сказать то, о чем он сам предпочитает умолчать.

Весь сюжет был перевернут задом наперед, сказал дядя, все роли и действующие лица пьесы смешались и перепутались: дочь играла и произносила то, чему следовало быть ролью и репликами отца; не отец, а дочь отстранила героя детского романа (неважно, сколь непрочной и эфемерной эта связь была, сказал дядя и – по словам его, Чарльзовой, матери – во второй раз спросил, знает ли кто-нибудь, как звали этого героя и куда он девался), чтобы уплатить по закладной на поместье; дочь сама выбрала человека вдвое старше себя, но обладающего прикосновением Мидаса, хотя роль отца должна была именно в том и заключаться, чтобы его найти и, если нужно, даже оказывать давление, чтобы старый роман (и его, Чарльзова, мать рассказала, как дядя опять повторил:

неважно, сколь никчемный и эфемерный) был окончательно порван и забыт, а свадьба состоялась, хуже того: если бы даже супруга выбрал отец, сюжет бы все равно развивался наоборот, так как деньги (по словам его, Чарльзовой, матери, дядя и про это спросил дважды: был ли этот тип Гаррисс уже богат или просто казалось, что он разбогатеет, если получит в свое распоряжение достаточно времени и достаточно людей) уже принадлежали отцу, даже если их было не так много – ведь, как сказал дядя, человек, который читает полатыни ради удовольствия, не захочет иметь больше, чем он уже имеет.

Однако они поженились. Затем следующие пять лет те, кого дядя называл многочисленным поколением незамужних старых тетюшек, которое спустя семьдесят пять лет после Гражданской войны все еще существует, составляя опору общественного, политического и экономического единства Юга, следили за ними, как читатели следят за ходом событий в очередном продолжении романа.

В свадебное путешествие они поехали в Новый Орлеан, как в те времена поступали в тех краях все, кто считал свой брак законным. Потом они возвратились и недели две ежедневно приезжали в город в старой потрепанной виктории (у ее отца автомобиля никогда не было и никогда не будет), запряженной парюю рабочих лошадей, с кучером-негром, который на них пахал, облаченным в комбинезон со следами спавших в нем или на нем кур, а может даже и сов. Потом

она – виктория – иногда проезжала по Площади; в ней сидела только молодая жена, и лишь через месяц город обнаружил, что ее муж уехал, воротился в Новый Орлеан к своему бизнесу – так впервые стало известно, что у него есть бизнес и где таковой находится. Однако даже и тогда и еще целых пять лет они не узнают, что это был за бизнес.

Итак, теперь город и округ мог смотреть только на молодую жену, которая в своей старой виктории одна приезжала за шесть миль в город, то ли навестить его, Чарльзову, мать или другую из шести своих прежних подруг, то ли просто прокатиться по городу и по Площади, а затем вернуться домой. Потом, еще месяц она просто проезжала по Площади, да и то лишь раз в неделю, тогда как прежде это случалось чуть ли не каждый день. Потом, еще через месяц, в городе не появлялась даже виктория. Казалось, она наконец сообразила, напоследок поняла то, о чем уже два месяца весь город да и округ тоже говорил и думал, – ведь ей тогда едва исполнилось восемнадцать, а по словам его, Чарльзовой, матери, ей даже и столько нельзя было дать – она, эта худенькая, темно-волосая, темноглазая молодая женщина ростом с маленькую девочку, выглядывавшая из-под балдахина виктории, словно из входа в какую-то пещеру, сидела, притулившись одна на заднем сиденье, где свободно могли разместиться пять или шесть таких, как она; по словам его матери, она даже и в школе не отличалась особыми способностями, да к этому и не стремилась, а по словам дяди, может, вовсе в них и не

нуждалась, будучи созданной для простой любви и скорби; то есть, по всей вероятности, для любви и скорби, ибо наверняка не для надменности и гордости – ведь ей не удалось (если она вообще когда-нибудь ставила себе такую цель) напустить на себя самоуверенность или даже выказать браваду.

И теперь многие, а не только те, кого дядя называл незамужними старыми тетками, вообразили, что знают, каким именно бизнесом Гаррисс занимается, и что бизнес этот давно уже завел его гораздо дальше Нового Орлеана – наверняка миль на четыреста или пятьсот дальше, – ведь хотя дело и происходило в двадцатые годы, когда люди, скрывавшиеся от суда, все еще считали Мексику достаточно далекой и безопасной, человек, о коем идет речь, вряд ли нашел в этом семействе и на этой плантации достаточно денег, чтобы без Мексики никак нельзя было обойтись, не говоря о том, чтоб до нее добраться, – или вообще счел, что бегства ему не избежать, и, наверное, лишь собственные страхи заставили его проехать даже те триста миль, которые составляли расстояние до Нового Орлеана.

Однако они ошиблись. Он возвратился к Рождеству. И как только он действительно вернулся туда, где они смогли опять увидеть, что он ничуть не изменился, что он все тот же – мужчина неопределенного возраста, обходительный, краснолицый, вкрадчивый, лишенный воображения и изящества, все сразу встало на свое место. В сущности, никогда и не было иначе; даже те, кто раньше и увереннее всех

утверждали, будто он ее бросил, теперь были больше всех убеждены, будто нисколько этому не верили, и когда он после Нового года уехал опять, как любой другой муж, которому не повезло в том смысле, что его работа, бизнес, находится в одном месте, а семья – в другом, никто даже не заметил день его отъезда. Теперь их не интересовал даже его бизнес. Теперь они знали, чем он занимается – незаконной торговлей спиртным, и не просто сбывает из-под полы какую-нибудь жалкую бутылку виски в гостиничных цирюльнях – ведь теперь, когда его жена в одиночестве проезжала по Площади в своей виктории, на ней была меховая шуба, и как только джефферсонцы эту шубу увидели, он сразу вырос в глазах города и округа и завоевал их уважение. Ведь он не только добился успеха, но, следуя лучшим традициям, тратил деньги на своих женщин. Мало того – традиция, которой он придерживался, была для Америки еще более старинной и прочной: он добился успеха не просто вопреки Закону, он победил Закон, словно побежденным им противником была не какая-нибудь неудача, а сам этот Закон, и теперь, возвратившись домой, он ходил среди них не просто в ореоле успеха, романтики, бравады и запаха выдохшегося бездымного пороха, но также и в ореоле деликатности, ибо у него хватило такта делать свой бизнес в другом штате за триста миль отсюда.

А бизнес был крупный. В то лето он вернулся домой в самом большом и сверкающем автомобиле изо всех, каким

когда-либо случалось заночевать в границах округа, с незнакомым негром в униформе, который только и делал, что этим автомобилем управлял, мыл его и полировал. Потом появился первый ребенок, а с ним и кормилица – светлокожая негритянка, намного бойчее и уж во всяком случае шикарнее любой белой или чернокожей женщины в Джефферсоне. Потом Гаррисс снова уехал, и теперь ежедневно можно было видеть, как все четверо – жена, младенец, облаченный в форму шофер и кормилица – в большом сверкающем автомобиле раза два-три в день проезжают взад-вперед по Площади и по городу и даже не всегда где-нибудь останавливаются, а вскоре округ и город узнали, что куда, а может даже и когда они поедут, решали негры.

На то Рождество, а потом и на следующее лето Гаррисс приехал снова, и родился второй ребенок, а первый начал ходить, и теперь все прочие жители округа, а не только его, Чарльзова, мать и остальные пятеро подруг ее юности, наконец узнали, мальчик это или девочка. А потом их дед умер, и тем Рождеством Гаррисс взял в свои руки плантацию и от имени жены или, вернее, от своего собственного имени пребывающего в отсутствии лендлорда вступил с неграми-арендаторами в соглашение, сделку, согласно которой им надлежало целый год обрабатывать землю, в сделку, из которой, как все знали, ничего путного получиться не может – о чем, как полагал округ, сам Гаррисс даже не дал себе труда позаботиться. Ведь ему это было безразлично; он делал деньги

сам, и прервать свой бизнес лишь ради того, чтоб управлять скромной хлопковой плантацией даже в течение одного года, было равносильно тому, как если бы заядлый жокей в самый разгар сезона сошел с беговой дорожки с целью развозить молоко.

Он делал деньги и ждал, и вот и впрямь наступил день, когда больше ждать было незачем. В то лето, возвратившись домой, он провел там два месяца, а после его отъезда в доме уже был электрический свет и водопровод, а вместо скрипел ручного колодезного ворота и мороженицы воскресными утрами денно и ночью раздавались механические звуки – стук и гуденье насоса и динамо-машины, а от старика, почти пятьдесят лет просидевшего на веранде со своим пуншем да с Горацием, Катуллом и Овидием, теперь не осталось ничего, кроме самодельного кресла-качалки из гикори, отпечатков пальцев на книжных переплетах из телячьей кожи, серебряного бокала, из которого он пил, да старой собаки-сеттера, которая дремала у его ног.

Его, Чарльзов, дядя заметил, что влияние денег оказалось даже сильнее, чем призрак старого стойка, провинциального домоседа-космополита. Возможно, дядя считал это влияние даже сильнее, чем присущую дочери старика способность к скорби. Так, во всяком случае, считали все жители Джефферсона. Ибо прошел тот год, и Гаррисс приехал на Рождество, а потом на месяц летом, и оба малыша уже ходили, то есть должны были ходить, хотя никто в Джефферсоне не мог

в том поручиться – ведь никто никогда не видел их нигде, кроме как в проезжавшем мимо автомобиле; старая собака – сеттер – была уже мертва, и в тот год Гаррисс отдал всю пахотную землю чохом в аренду человеку, который даже не жил в округе, а во время сева и сбора урожая каждое воскресенье вечером приезжал за семьдесят миль из Мемфиса и всю неделю ночевал в заброшенной негритянской лачуге, пока субботним полднем не наступало время возвращаться в Мемфис.

Потом настал следующий год, и той весной арендатор привез своих собственных батраков-негров, так что теперь не было даже тех негров, которые жили в старом поместье и поливали своим потом его землю еще до рождения миссис Гаррисс, и теперь от старого хозяина не осталось совсем ничего, потому что его самодельное кресло, серебряный бокал и ящики с потрепанными книгами в переплетах из телячьей кожи лежали на чердаке у его, Чарльзовой, матери, а человек, который арендовал землю, жил в доме в качестве управляющего.

Потому что миссис Гаррисс тоже уехала. Она тоже не уведомила Джефферсон о своем отъезде. Это был даже некий сговор, ибо его, Чарльзова, мать знала, что она уезжает, и знала куда, а раз его мать знала, то и остальные пятеро тоже знали.

Сегодня она была там, в доме, из которого, как думали джефферсонцы, она никогда не захочет сбежать – вопреки

тому, во что он этот дом превратил, вопреки тому, что дом, где она родилась и прожила всю свою жизнь, кроме двухнедельного медового месяца в Новом Орлеане, стал теперь чем-то вроде мавзолея, опутанного электрическими проводами, водопроводными трубами, снабженного автоматическими машинами для приготовления пищи и стирки, а также синтетическими картинами и мебелью.

А наавтра она уехала – она сама, двое детей, двое негров, которые, прожив четыре года в деревне, все еще оставались городскими неграми, и даже длинный, сверкающий, похожий на катафалк автомобиль, – уехала в Европу для поправления здоровья детей: так, по крайней мере, говорили, хотя никто не знал, кто именно это говорил – ведь этого не говорила ни его, Чарльзова, мать, ни одна из тех пятерых, кто во всем Джефферсоне и во всем округе знал об ее отъезде, ни, разумеется, она сама. Но она уехала, бежала, и, возможно, город думал, будто он знает, от чего. Но чего она искала – если она вообще чего-то искала, – даже его дядя, у которого всегда было что сказать (и слова его довольно часто имели смысл) о том, что не слишком его касалось, даже дядя на сей раз не знал или, во всяком случае, не сказал.

И теперь за происходящим следил не только Джефферсон, но и весь округ, и не только те, кого дядя называл незамужними старыми тетками, которые посредством слухов и предположений (а может, и надежды) следили со своих веранд, но и мужчины тоже, причем не только горожане, кото-

рым надо было проехать всего шесть миль, но и фермеры, которым надо было пересечь весь округ.

Они приезжали целыми семьями в запыленных потрепанных автомобилях и фургонах или поодиночке верхом на лошадях и мулах, накануне вечером выпряженных из плуга, останавливались на обочинах дороги и наблюдали, как команды чужаков, оснащенные таким количеством машин, какого хватило бы для постройки шоссе или водохранилища, рыхлили и превращали в газоны старые поля, некогда отведенные под незатейливую прибыльную кукурузу и хлопок, и засевали их кормовыми травами, фунт которых ценится дороже сахара.

Миновав протянувшиеся на много миль выкрашенные белой краской дощатые заборы, они сидели в автомобилях и фургонах или верхом на лошадях и мулах и смотрели на длинные ряды конюшен, построенных из материала намного лучшего, чем большая часть их домов, и оснащенных электрическими лампами, светящимися часами, водопроводом и окнами, забранными сеткой, каких не было в большей части их домов; они возвращались на мулах, может, даже не седлая их, а просто закрепляя петлей на хомуте построжки плуга, чтобы они не волочились по земле, и смотрели, как из одного автофургона за другим выгружают великолепных кровных жеребцов, кобыл и жеребят, чьих предков в пятидесятом колене (как его, Чарльзов, дядя мог бы сказать, но не сказал, ибо именно в тот самый год он перестал много го-

ворить о чем бы то ни было) нагнет на холке приводил в не меньший ужас, чем домашнюю хозяйку волос в масленке.

Он (Гаррисс) перестроил дом. (Он теперь каждую неделю совершал полеты на аэроплане; говорили, будто на этом же аэроплане он перевозит виски с Мексиканского залива в Новый Орлеан.) То есть новый дом должен был занять столько же места, сколько заняли бы четыре старых, сколоченных вместе. Это был просто дом, одноэтажный, обнесенный по фасаду верандой, где старый хозяин сидел, бывало, на своем самодельном кресле со своим пуншем и Катуллом; когда Гаррисс закончил перестройку, дом стал похож на южный особняк из кинофильма, только раз в пять больше и раз в десять южнее.

Потом он начал привозить с собой друзей из Нового Орлеана – на субботу и воскресенье или на более длительное время, и не только на Рождество и летом, а четыре-пять раз в год, словно деньги теперь текли к нему столь быстро и гладко, что ему даже незачем было оставаться там и следить за ними. Иногда сам он даже не приезжал, а только присылал гостей. У него был домоправитель, постоянно живший в доме, – не тот, старый, первый арендатор, а другой, из Нового Орлеана, которого он называл дворецким. Этот толстый не то итальянец, не то грек в отсутствие гостей разгуливал в белой шелковой рубашке без воротничка и с пистолетом в кармане штанов. Но когда приезжали гости, он брился, надевал ярко-красный галстук-самовяз из мягкого шелка, а в

очень холодную погоду еще и пиджак; в Джефферсоне говорили, будто он носит пистолет даже когда подает на стол, хотя никто из жителей города и округа не мог этого видеть, ибо никогда за этим столом не сидел.

Итак, Гаррисс иногда просто посылал в дом и препоручал заботам дворецкого своих друзей – холодных, лощенных, щегольски одетых мужчин и женщин, с виду холостых и незамужних, даже если они время от времени, случалось, и состояли друг с другом в законном браке; эти странные чужеземцы проносились на сверкающих спортивных автомобилях по городу и по дороге, часть которой все еще оставалась простым проселком – что бы он там на одном ее конце ни построил, – по дороге, где в прохладной пыли валялись собаки и куры и бродили без присмотра мулы, телята и свиньи; но вот резкий толчок, летят во все стороны перья; удар, потом лай или визг (а если попадетя лошадь, мул, корова или – что хуже всего – кабан, то вмятина на бампере или на крыле), но автомобиль даже не замедляет ход; и в конце концов дворецкий стал держать запас монет, банкнот и подписанных, но не заполненных Гарриссом чеков; он сунул их в холщовый мешок, повесил на внутреннюю ручку парадной двери, и когда к парадному подъезжал фермер, его жена или сын и говорил: «кабан» или «мул» или «курица», дворецкий, даже не выходя из дверей, брал мешок, отсчитывал деньги или заполнял чек, платил им, и они уезжали – это стало дополнительным источником дохода для поселян, живших близ этого шести-

мильного отрезка дороги, вроде сбора и продажи яиц и ежевики.

Имелась там и площадка для игры в конное поло. Она была расположена возле шоссе; жители города – коммерсанты, адвокаты, помощники шерифа – теперь могли приезжать и смотреть на всадников, даже не выходя из своих автомобилей. И жители сельской местности: фермеры, арендаторы, издольщики и кропперы – люди, которые надевали башмаки лишь в тех случаях, когда неизбежно приходилось шагать по грязи, а верхом на лошадях ездили лишь, чтобы не ходить пешком из одного места в другое; в той же одежде, что надели перед завтраком, они приезжали на лошадях и мулах, выпряженных из плуга, стояли возле изгороди и смотрели – немножко на великолепных лошадей, но больше на костюмы женщин и даже мужчин, которые не могли ездить верхом иначе как в начищенных сапогах и специальных штанах, и на других, тоже в штанах, сапогах и котелках, которые даже и верхом не ездили.

А теперь они приезжали посмотреть и на кое-что еще. Насчет конного поло они слышали и даже поверили, что такая игра существует, еще прежде, чем ее увидели. Но про другое они все еще не верили, даже когда собственными глазами увидели это самое дело и приготовления к нему: как команды работников вырезают целые куски в дорогах дощатых заборах и в наружных, тоже дорожных, проволочных изгородях, а в образовавшиеся бреши вставляют низкие загородки из

жердочек и планок чуть потолще спичек, которые не задержали бы даже солидную собаку, не говоря о телке или муле; а в одном месте ставят щит из какого-то материала, обработанного и выкрашенного под каменную стенку (говорили, будто это бумага, хотя жители округа, конечно, этому не верили – не потому, что не верили, будто бумаге можно придать такой вид, а просто потому, что вообще ничему этому не верили; они были убеждены, что эта штука не каменная, именно потому, что она выглядела как каменная, а они были заранее готовы к тому, что им будут врать насчет материала, из которого она на самом деле изготовлена). Эту стенку два человека, взявшись за нее с двух сторон, могли поднять и отодвинуть – все равно как две служанки передвигают парусиновую раскладушку; а в другом месте, среди пастбища акров этак в сорок, пустого и голого, как бейсбольная площадка, стоял кусок живой изгороди – он рос даже не в земле, а в деревянном ящике наподобие корыта для корма свиней – а за ним находилась специально вырытая яма, заполненная водой, которую качали из дома по оцинкованной трубе длиной чуть ли не в целую милю.

А после того, как это дело произошло раза два или три и молва о нем разнеслась по всему округу, половина его мужского населения приехала посмотреть, как двое мальчишек-негров посыпают бумажными полосками дорожку от одной загородки к другой, а потом мужчины (один в красной куртке и с медным рожком) и женщины в штанах и высоких

сапогах ездят по этой дорожке верхом на тысячедолларовых лошадях.

А на следующий год появилась настоящая свора гончих, хороших гончих, слишком хороших, чтобы быть просто собаками, – точно так же, как лошади были слишком хороши, чтобы быть просто лошадьми, слишком чисты и как-то слишком необычны – они тоже жили в защищенных от непогоды клетках с водопроводом, а ухаживать за ними были приставлены специальные люди – точь-в-точь как и за лошадьми, у которых тоже все это было. И теперь вместо двух негров с обрезками бумаги в двух длинных мешках для сбора хлопка один-единственный негр ехал верхом на муле, волоча по земле на канате джутовый мешок, в котором было что-то запрятано; он старательно подтаскивал мешок к каждой загородке, слезал с мула, привязывал его к чему попало, брал мешок, старательно втаскивал его на загородку, переваливал через нее, потом снова садился на мула и волочил мешок к следующей загородке, и таким манером объезжал весь длинный петляющий круг вплоть до исходной точки на том пастбище, что находилось ближе всего к шоссе и к забору, где стояли привязанные мулы с нагнетами на холках и рабочие лошади и приехавшие на них неподвижные мужчины в комбинезонах.

Затем негр останавливал мула и сидел на нем, вращая белками, а кто-нибудь из зрителей, кто уже видел все это раньше, во главе с шестью, двенадцатью или пятнадцатью други-

ми, которые еще не видели, перелезал через забор и, даже не глядя на негра, проходил мимо мула, шел дальше, поднимал с земли мешок, а эти шесть, или двенадцать, или пятнадцать поодиночке подходили, нагибались и нюхали его. Потом он клал мешок обратно на землю, и опять без единого слова или звука все они шли обратно, перелезали через забор и опять становились вдоль него – мужчины, способные ночь напролет просидеть на корточках вокруг тлеющего пня или бревна с кувшином кукурузной водки и по голосу угадать и назвать имена гончих, что носятся и лают где-то за целую милю от них; они стояли и не только смотрели на лошадей, которым не надо мчаться за добычей, но также слушали яростный лай собак, которые преследуют даже не призрак, а химеру; стояли, облокотись о белый забор, неподвижные, сдержанные, с сардоническим выражением на лицах, жевали табак и отплеывались.

И каждое Рождество и Новый год его, Чарльзова, мать и остальные пять бывших подруг ее юности получали поздравительные открытки. На марках стоял штемпель Рима, Лондона, Парижа, Вены или Каира, но открытки были куплены не там. Они вообще не были куплены где-либо в течение последних пяти или десяти лет, потому что их выбирали, приобретали и складывали во времена более спокойные, чем нынешние, когда дома, в которых люда рождались, даже не всегда знали, что в них не хватает электрических проводов и водопроводных труб.

От этих открыток даже пахло стариной. Теперь существовали не только быстроходные суда, но и авиапочта через океан, и он, Чарльз, думал о мешках с письмами из всех столиц мира, с письмами, которые были проштемпелеваны сегодня, а доставлены, прочитаны и забыты чуть ли не на следующий день, и о затесавшихся среди них стародавних открытках давних времен, которые потихоньку шептали о старых чувствах и старых мыслях, невосприимчивых к чужеземным именам и языкам, словно миссис Гаррисс привезла их с собой через океан, вынув из ящика секретера в старом доме, которого все эти пять или десять лет уже не существовало.

А в промежутках между открытками, в дай рождения его матери и остальной пятерки приходили письма, которые не изменились даже за эти десять лет, письма, постоянные в своих чувствах, выражениях и сомнительном правописании, выведенные рукою шестнадцатилетней девочки, которая по-прежнему рассказывала о старых домашних делах в тех же старых провинциальных выражениях, словно за десять лет, проведенных в пышном блеске света, она не увидела ничего такого, чего не привезла бы с собой, – рассказывала не об именах и городах, а о здоровье и занятиях детей, не о посланниках, миллионерах и пребывающих в изгнании монархах, а о семьях швейцаров и официантов, которые были добры или хотя бы внимательны к ней и к детям, и о почтальонах, приносивших письма из дома; она часто забывала упомянуть,

а тем более подчеркнуть названия дорогих фешенебельных школ, в которых учились ее дети, словно даже не знала, что они дорогие и фешенебельные. Так что молчаливость вовсе не была чем-то новым; уже тогда он видел, как дядя сидит и держит в руке одно из писем, полученных его, Чарльзовой, матерью, – неисправимый холостяк, единственный раз в жизни столкнувшийся с предметом, о котором ему явно нечего сказать, точно так же, как теперь, десять лет спустя, он сидел здесь за шахматной доской, все еще безгласный и, конечно, все еще молчаливый.

Однако ни дядя, ни кто другой не мог бы сказать, что жизненный путь Гаррисса перевернут вверх тормашками. А он, Гаррисс, продвигался по этому пути, и притом быстро: ты женишься на девушке, девочке вдвое моложе себя, за десять лет в десять раз увеличиваешь ее приданое, а потом в одно прекрасное утро секретарь твоего адвоката звонит твоей жене по междугородному телефону в Европу и сообщает, что ты сию минуту умер, сидя за своим письменным столом.

Не исключено, что он и вправду умер за письменным столом; не исключено даже, что этот стол стоял в конторе, как подразумевалось в сообщении. Ведь человека можно застрелить за столом в конторе с таким же успехом, как и в любом другом месте. И не исключено, что он и вправду просто умер, сидя за столом, – ведь к тому времени сухой закон даже на законном основании скончался, а когда сухой закон отменили, Гаррисс уже разбогател, и после того, как адвокат

с десятком расфранченных лакеев с пистолетами под мышкой привез его домой и поставил гроб для прощания в его роскошных родовых апартаментах десяти лет от роду, гроб больше не открывали, а что до лакеев, то в каждой комнате первого этажа размещалось по лакею с пистолетом, так что теперь любой житель Джефферсона, если ему заблагорассудится, мог пройти мимо гроба, украшенного цветами, среди которых лежала большая белая карточка с отпечатанной рукописным шрифтом цифрой \$ 5500, а также осмотреть дом изнутри, прежде чем адвокат вместе с лакеями увез его обратно в Новый Орлеан или, во всяком случае, куда-то прочь отсюда и похоронил.

Все это происходило в том самом году, которому предстояло стать первым годом новой войны в Европе или, вернее, второй фазы той старой войны, в которой участвовал его, Чарльзов, дядя; как бы то ни было, в течение следующих трех месяцев семье пришлось вернуться домой.

Они вернулись меньше чем через два. И тут он, Чарльз, впервые увидел их, то есть мальчика и девочку. Миссис Гаррис он тогда не видел. Да ему и не надо было ее видеть; он слишком долго слушал рассказы своей матери; он уже знал, как она будет выглядеть, словно не только видел ее раньше, но так же долго, как его мать, знал эту худенькую хрупкую темноволосую женщину, которая даже в тридцать пять лет все еще казалась девочкой, в сущности не многим старше собственных детей, возможно, потому, что обладала способ-

ностью, склонностью, а возможно, даром, уделом прожить десять лет среди людей, которых сестра его, Чарльзовой, бабушки назвала бы коронованными владыками Европы, прожить, даже не отдавая себе отчета, что уехала из округа Йокнапатофа; она казалась не столько более взрослой, чем ее дети, сколько более мягкой, спокойной, постоянной, а возможно, просто более тихой.

Он видел юг всего несколько раз, да и остальные, насколько ему было известно, тоже. Юноша катался верхом, но лишь там, у себя в загоне или на площадке для игры в конное поло, и, очевидно, не ради забавы, а просто чтоб выбрать несколько самых лучших лошадей, которых надо было оставить себе, ибо не прошло и месяца, как в одном из маленьких загон-ов они устроили аукцион и распродали их всех, кроме десяти или двенадцати. Но он явно знал толк в лошадях, ибо те, что остались, были превосходные.

А люди, которые его видели, сказали, что ездить верхом он тоже умеет, хотя и как-то мудрёно, по-заграничному, высоко поднимая колени, что было ново для Миссисипи или, во всяком случае, для округа Йокнапатофа, каковой округ вскоре услышал, что молодой Гаррисс не меньше преуспел в чем-то даже еще более заграничном, нежели верховая езда, – он был первым учеником у какого-то знаменитого итальянского учителя фехтования. И время от времени люди видели его сестру – она приезжала в город на одном из автомобилей и ходила по лавкам, как все девицы, которые ухитряются

найти и купить что-то им нужное в любой, даже самой заухудалой лавчонке, – неважно, выросли они в Париже, Лондоне, Вене или просто в Джефферсоне, Моттстауне или Холлиноу, что в штате Миссисипи.

Однако миссис Гаррисс он, Чарльз, в тот раз так и не увидел. И потому он воображал, как она ходит по этому немислимому дому, который она, наверное, и узнала-то лишь по топографическому местоположению, – ходит не как привидение, ибо – по крайней мере, для него, Чарльза – ничего призрачного в ней не было. Она была слишком... слишком... – потом он нашел слово – стойкая. Стойкость – постоянство, невосприимчивость, тихая мягкая уступчивость – позволила ей прожить десять лет в блестящих европейских столицах, даже не поняв, что она нисколько им не поддавалась, а, напротив, осталась просто мягкой, просто уступчивой – так ящик старинного шкафа или комода из старого дома упорно и твердо не поддавался всем переменам и переделкам и не только их не воспринял, но даже понятия не имел, что устоял против изменений, хотя и находился внутри этого чудовищного гриба, воздвигнутого выскочкой Гарриссом; но вот кто-то, случайно проходя мимо, с грохотом выдвинул этот ящик, и из него пахнуло ароматом старинного саше – и тут ему, Чарльзу, внезапно открылась истинная картина, истинное положение вещей: призраком была вовсе не она, видением был чудовищный дом Гаррисса – одного легкого дуновенья, одной мимолетной струйки аромата от са-

ше из этого потревоженного ящика было достаточно, чтобы весь необъятный размах стен, все бесконечные изгибы просторных галерей в одно мгновение ока стали прозрачными и бесплотными.

Но в тот раз он ее так и не увидел, потому что через два месяца они снова уехали, на сей раз в Южную Америку, так как в Европу въезд был закрыт. И еще год к его матери и к остальной пятерке приходили открытки и письма, в которых о чужих странах опять говорилось не больше, чем если бы письма писались в соседнем округе; теперь в них говорилось не только о детях, но и о доме – не о чудовище, в которое превратил его Гаррисс, а о том, каким он был прежде, словно, когда она еще раз увидела место, занимаемое им в пространстве, перед нею возник его образ во времени, словно в ее отсутствие он остался нетронутым, словно просто держался, ожидая ее возвращения; и все еще казалось, будто даже приближаясь к сорока годам, она еще меньше, чем когда-либо, была склонна к новизне, к восприятию новых вещей и чувств. Потом они возвратились. Теперь их было четверо – с ними приехал кавалерийский капитан из Аргентины, он преследовал, провожал или, во всяком случае, обхаживал явно не дочь, а мать, и таким образом этот сюжет тоже был перевернут вверх тормашками: ведь капитан Гуальдрес был примерно на столько же старше девушки, на сколько ее отец был в свое время старше своей невесты, и в сюжете, по крайней мере, наблюдалась некая закономерность.

И вот в одно прекрасное утро, когда они с дядей переходили Площадь и размышляли (он, Чарльз, во всяком случае) о чем угодно, только не об этом, он вдруг поднял глаза и увидел ее. И оказалось, что он прав. Она выглядела именно так, как, по его мнению, должна была выглядеть, и тогда и даже еще прежде, чем они остановились, он ощутил этот запах – аромат старинного саше, лаванды, тимьяна или чего-то в том же роде, и если вначале могло показаться, будто от первого соприкосновения с мирским блеском он исчезнет, то уже в следующий миг становилось ясно, что этот аромат, запах, дуновение, шепот силен и долговечен, а вспыхнул и померк как раз изменчивый и преходящий блеск.

– Это Чарльз, – сказал дядя. – Сын Мэгги. Надеюсь, вы будете счастливы.

– Простите? – сказала она.

Дядя повторил:

– Надеюсь, вы будете очень счастливы.

И он, Чарльз, сразу понял: тут что-то не так; он понял это даже прежде, чем она сказала:

– Счастлива?

– Да, – сказал дядя. – Разве я не вижу это по вашему лицу?

Или мне нельзя этого видеть?

И тогда он понял, что именно не так. Это было в дяде; казалось, что тот год – десять лет назад, – когда дядя перестал разговаривать, длится уже слишком долго. Наверно, потому, что разговаривать это все равно, что играть в гольф

или стрелять влет – тут нельзя пропускать ни единого дня, а если пропустишь целый год, то ни прежнего навыка, ни глазомера никогда уж больше не вернешь.

И он тоже стоял там, наблюдая, как она стоит и смотрит на его дядю. Потом она покраснела. Он наблюдал, как румянец, возникнув, пополз вверх и покрыл ее лицо, подобно движущейся тени облака, которая пересекает пятно света. Потом румянец коснулся даже ее глаз – нечто подобное происходит, когда облако-тень коснется воды и можно увидеть не только тень, можно даже увидеть самое облако – а она все стояла и смотрела на дядю. Потом быстро наклонила голову, а дядя отошел в сторону, чтобы ее пропустить. Потом дядя тоже повернулся, наткнулся на него, и они двинулись дальше, но даже после того, как они с дядей прошли сотню футов – если не больше, – ему казалось, что он все еще слышит этот запах.

– Сэр? – сказал он.

– Ну что тебе? – отозвался дядя.

– Вы что-то сказали.

– Разве? – сказал дядя.

– Вы сказали: «Мир встречается редко».

– Будем надеяться, что нет, – возразил дядя. – То есть я хочу сказать не мир, а эта цитата. Но предположим, я это сказал. Зачем нужны Гейдельберг, Кембридж, Джефферсонская средняя или Объединенная Йокнапатофская школа, если не для того, чтобы человек мог приобрести способность бойко изъясняться на мириадах известных ему языков?

Так что, может, он и ошибся. Возможно, дядя вовсе и не потерял этот год: так старый игрок в гольф или стрелок – пусть он даже чуточку расслабился, потерял форму, пусть все его выстрелы один за другим бьют мимо цели – способен, однако, в конце концов добиться своего, и не только когда его припрет, а когда он сам того пожелает. Ведь не успело это даже прийти ему в голову, как дядя – этот бойкий на язык, как всегда стремительный, неисправимо говорливый, вечно перескакивающий с одного предмета на другой человек, у которого всегда было в запасе какое-нибудь на редкость верное, но всегда чуть-чуть экстравагантное высказывание почти обо всем, что совершенно его не касалось, – дядя, шагая вперед, сказал:

– Ладно, будь что будет. Наименьшее, что мы можем пожелать капитану Гуальдресу, затесавшемуся в нашу среду чужаку, это чтобы мир бывал не редко или вообще не бывал никогда.

Ибо к этому времени весь округ уже знал капитана Гуальдреса – понаслышке, а многие даже в лицо. А потом однажды он, Чарльз, тоже его увидел. Капитан Гуальдрес проезжал по Площади верхом на одной из гарриссовых лошадей, и дядя объяснил ему, Чарльзу, что это такое. Не кто этот человек, и не что он собою представляет, а что представляют собою они – человек и лошадь вместе. Это даже не кентавр, а единорог, сказал дядя. От него веяло каким-то безразличием и твердостью – не вялым безразличием дворецких Гаррисса, про-

истекавшим от чрезмерно веселой жизни, а твердостью металла, безупречно чистой стали и бронзы. Казалось, это существо подверглось десикации и было лишено почти всяких признаков пола. И как только дядя это сказал, он – Чарльз – тоже смог увидеть это конеподобное существо из древнего эпоса, с одним-единственным рогом, причем не из кости, а из какого-то металла, столь необычайного, несокрушимого и страшного, что даже мудрецы не смогли бы дать ему название; это был сплав, выкованный из первоисточника человеческих снов, мечтаний и страхов, чья формула утрачена, а быть может, и нарочно уничтожена самим Кузнецом; нечто намного более древнее, чем сталь или бронза, намного более прочное, чем вся сила страданий, ужаса и смерти, заключенная в обыкновенном золоте и серебре. Вот почему, сказал дядя, человек этот кажется частью коня, которого он оседлал: это свойство человека, составляющего живую часть живого коня, – составное существо может умереть и умрет, должно умереть, но кости останутся лишь от коня; со временем кости рассыплются в прах и исчезнут в земле, человек же пребудет нетронутым и неподвластным тлену, там, где они оба пали.

Сам человек, однако, был вполне нормальным. Он говорил на каком-то неестественном, сухом английском языке, который не всегда можно было понять, но говорил он на нем со всяким встречным и поперечным и скоро стал не просто известен, но хорошо известен, и не только в городе, но и во

всем округе. За месяц или два он, казалось, побывал везде, где только способна пройти лошадь; он наверняка знал все проселки, тропинки и закоулки, которые даже его, Чарльзов, дядя, ежегодно во время предвыборной кампании объезжавший округ, чтоб сохранить своих избирателей, едва ли когда-нибудь видел.

Он не только изучил весь округ, он завел себе в нем друзей. Скоро всякие люди стали ездить туда – не к Гарриссам, а к чужаку, в гости не к женщине, владевшей поместьем, чью фамилию они знали на протяжении всей ее жизни, равно как и жизни ее отца и деда, а к чужаку, иностранцу, о котором еще полгода назад они и слыхом не слыхали, чьи речи еще год спустя не смогут толком разобрать; люди, проводящие большую часть времени на открытом воздухе, обычно холостяки – фермеры, механики, кочегар паровоза, инженер-строитель, двое молодых людей из дорожно-ремонтной службы, профессиональный торговец лошадьми и мулами – приезжали по его приглашению покататься верхом на лошадях, принадлежавших женщине, которая, как известно, была его хозяйкой, и чьим любовником (все жители округа были уверены – еще до того, как они его впервые увидели, – что его интерес или, во всяком случае, намерения связаны со старшей женщиной, с матерью, которая уже распорядилась деньгами, ибо на девушке, дочери, он мог жениться в любое время, еще задолго до отъезда семейства из Южной Америки) он наверняка уже был и чьим мужем мог стать в любое

время, стоило ему только захотеть – что, очевидно, произойдет, когда он в конце концов вынужден будет это сделать, – ведь будучи не только иностранцем, но и латинянином, он, наверно, вел свой род от многих поколений холостых Дон Жуанов и скорее всего был распутником – даже не потому, что предпочитал распутство, просто оно было для него так же естественно, как пятнистая шкура для леопарда.

Вообще о нем уже кто-то сказал, что будь миссис Гаррисс не женщиной, а лошадью, он бы давным-давно на ней женился. Ибо скоро все поняли, что он питает к лошадям такую же пылкую страсть, какую другие мужчины питают к спиртному, наркотикам или картам. По округу пронеслась молва, будто ночами – и лунными и темными – он отправляется на конюшню, седлает полдюжины лошадей и поочередно скачет на них до зари; а в то лето он устроил трассу для скачек с препятствиями, по сравнению с которой трасса, построенная Гарриссом, была беговой дорожкой для грудных младенцев, – он не вставлял в забор отрезки брусков или стенок, а устанавливал их фута на два выше забора, и препятствия на сей раз состояли не из спичечной соломки, а из крепких балок, пригодных на стропила; не из папье-маше, а из настоящих камней, привезенных не откуда-нибудь, а из восточной части Теннесси и из Виргинии. И теперь многие приезжали даже из города, ибо там было на что посмотреть: человек и лошадь сливаются, соединяются, становятся единым существом, затем преступают даже и эту позицию, это скрещение;

хладнокровно испытывают, чуть ли не физически нащупывая точку, где даже на взаимно согласованном пределе возможного им опять придется резко разорваться на две части – так пилот ракеты при махе ² 1, потом 2, потом 3 летит (и сам и его машина) к собственному последнему пределу высоты, где железный аппарат взрывается и исчезает, а его нежная незащищенная плоть продолжает стремительно нестись вперед, преодолевая звуковой барьер.

Хотя в данном случае (человек и лошадь) все было наоборот. Словно человек знал, что сам он неуязвим и несокрушим и что из них двоих подвести может только лошадь, а беговую дорожку и барьеры человек построил лишь для того, чтобы узнать, где лошадь в конце концов дрогнет. Что по всем законам этого сельскохозяйственного и конного края считалось совершенно правильным; именно так и следовало ездить верхом на лошади; Рейф Маккалем, один из тех, кто постоянно его наблюдал и который всю жизнь разводил, выращивал, выезжал и продавал лошадей и наверняка знал о лошадях больше любого жителя округа, говаривал: пока лошадь в конюшне, обращайся с ней так, словно она стоит тысячу долларов, но когда ты используешь ее для того, что тебе нужно или что и тебе и ей нравится, обращайся с ней так, словно ты мог бы купить десяток ей подобных за ту же тысячу – только центов.

² Мах – М-число или число Маха – отношение скорости полета к скорости звука; по фамилии австрийского физика Э. Маха (1838 – 1916) (*прим. перев.*).

А примерно месяца три назад произошло – или, по крайней мере, началось – нечто такое, о чем весь округ должен был узнать или, по крайней мере, составить себе мнение, по той простой причине, что это было единственной стороной или частью жизни капитана Гуальдреса в штате Миссисипи, которую он когда-либо пытался если не сохранить в тайне, то хотя бы скрыть от посторонних глаз.

Конечно, тут была замешана лошадь, потому что тут был замешан капитан Гуальдрес. Вообще-то, округ даже знал, какая именно лошадь. На всех этих необъятных, обнесенных дощатыми заборами и причесанных землях она была единственным из всех животных или существ, включая самого капитана Гуальдреса, – которое не принадлежало Гарриссам даже номинально.

Ибо эта лошадь принадлежала самому капитану Гуальдресу. Он купил ее по собственному выбору и на собственные деньги – или на деньги, которыми пользовался, как своими, и покупка лошади на деньги, которые, по мнению округа, принадлежали его любовнице, была одним из самых ловких, а может быть самым ловким поступком в североамериканском духе, какие капитан Гуальдрес когда-либо совершил или мог совершить. Если б он воспользовался деньгами миссис Гаррисс, чтобы купить себе девушку, – а этого жители округа все время ожидали, потому что он был моложе миссис Гаррисс, – то их презрение и отвращение к нему уступало бы лишь их презрению к миссис Гаррисс и стыду за нее. А коль скоро он

благопристойно потратил ее деньги на лошадь, жители округа заранее простили его *prima facie*³; благодаря своей честности и воздержанности этот ловкий соблазнитель приобрел в их глазах репутацию своего рода мужской респектабельности и сохранял ее почти полтора месяца, в течение которых самолично съездил в Сент-Луис, купил там лошадь и привез ее с собою на грузовике.

Это была кобыла, молодая кобылка, дочь знаменитого, ввезенного из-за границы скакового жеребца, начинавшая слепнуть от травмы; эту лошадь он – капитан Гуальдрес, – как думал округ, купил наверняка в качестве племенной кономатки (последнее, с их точки зрения, служило доказательством, что капитан Гуальдрес рассчитывал прожить в Северном Миссисипи не меньше года), ведь всякому ясно, что с кобылой – пусть даже самой чистокровной, – которая через год окончательно ослепнет, делать больше решительно нечего. И такого мнения жители округа держались еще полтора месяца, даже после того, как они узнали, что капитан Гуальдрес не просто наблюдает за естественным ходом вещей, а использует кобылу с какой-то целью; с какой именно – они не знали, но что у него была какая-то цель, им стало ясно – по той причине, что это оказалось первым его делом по конской части, которое он пытался сохранить в тайне.

На сей раз не было ни наблюдателей, ни зрителей, и не только потому, что с кобылой капитан Гуальдрес занимал-

³ За отсутствием доказательств обратного (*лат.*)

ся поздно ночью, а потому, что он сам попросил их не приезжать и не смотреть, попросил с тем латинским пристрастием к этикету и любезности, которое вошло в его плоть и кровь вследствие общения с собственным взбалмошным племенем и пробивалось даже сквозь его лингвистическую ущербность:

– Вы не приезжаете смотреть, потому что, клянусь честью, теперь нет на что смотреть.

И они не приезжали. Они уступили, возможно, не из уважения к его латинской чести, но уступили. Возможно, там и вправду не было ничего достойного обозрения, во всяком случае, ничего такого, ради чего стоило бы в столь поздний час ехать в такую даль, и лишь случайно какой-нибудь сосед, возвращаясь домой мимо поместья, погруженного в ночное безмолвие, слышал стук копыт в одном из загонов за конюшнями близ дороги: рысь, галоп, потом остановка, звук прекращался, наступала гробовая тишина; пока она длилась, слушатель успевал сосчитать до двух или даже трех, а потом все начиналось сначала, но уже в обратном порядке – лошадь с места пускалась галопом и, постепенно замедляя шаг, переходила на рысь, словно капитан Гуальдрес одним махом схватил, дернул, осадил ее, продержал в полной неподвижности две или три секунды, после чего снова погнал вскачь – чему он ее так обучал, не понял никто, и лишь один остряк из парикмахерской высказал предположение, что, раз кобыла все равно ослепнет, капитан скорей всего обучает ее увер-

тываться от транспорта на дороге в город, куда она отправится выправлять себе пенсион.

– Может, он учит ее брать препятствия, – сказал парикмахер, чистенький щеголеватый человечек, чья утомленная испитая физиономия напоминала цветом изнанку шляпки гриба – в полдень ему ежедневно приходилось дважды пересечь залитую солнцем улицу, отделявшую парикмахерскую от трактира «Всю-то-ночку-напролет», чтобы там пообедать; если он когда и сидел на лошади, то лишь будучи беззащитным младенцем, еще не способным постоять за себя.

– Ночью? – поинтересовался его клиент. – В темноте?

– Если лошадь слепнет, откуда ей знать, что на дворе ночь? – возразил парикмахер.

– Но зачем заставлять лошадь ночью брать препятствия? – спросил клиент.

– А зачем вообще заставлять лошадь брать препятствия? – сказал парикмахер, взбалтывая кисточкой пену в кружке. – И вообще зачем лошадь?

Тем дело и кончилось. Все это не укладывалось в рамки здравого смысла. А если, по мнению жителей округа, капитан Гуальдрес вообще был кем-то, он был человеком здравомыслящим. И его здравый смысл – или, во всяком случае, практичность – проявился даже в тех самых действиях, которые несколько уменьшили уважение к нему жителей округа. Ибо теперь они узнали, зачем ему понадобилось возиться с этой слепой кобылой, да к тому же еще и по ночам. Он,

этот непревзойденный наездник, использовал лошадь не как лошадь, а как ширму; он, этот безнравственный ловец стареющих вдов, обнаружил всю свою безнравственность.

Впрочем, какая там нравственность, была бы хоть совесть. Насчет его нравственности иллюзий у них никогда не было – откуда ей взяться у иностранца и латинянина, – и потому они заранее примирились с ее отсутствием. Но совесть, моральный кодекс, они ему сами навязали, всучили, а теперь он доказал, что и совести у него тоже нет, и этого они ему простить не могли.

Дело было в женщине, в другой женщине; им, наконец, пришлось примириться с тем, чего, как им теперь стало ясно, они всегда ожидали от иностранца и латинянина; теперь они наконец узнали, зачем ему понадобилась лошадь, именно эта лошадь, слепнущая лошадь; теперь они поняли, что, наверно, никто никогда не узнает, зачем поздней ночью раздается стук ее копыт, но и разбираться в этом тоже никто не станет. Это не что иное, как троянский конь; иностранец, все еще едва говоривший по-английски, не поленился отправиться в Сент-Луис разыскать и купить на собственные деньги лошадь, которая отвечала бы его требованиям: слепую, чтобы объяснить ночные отлучки; уже обученную или такую, какую он сам сумеет обучить по сигналу – может даже по электрическому звонку, действующему от часового механизма каждые десять или пятнадцать минут (к этому времени воображение округа взмыло на такие высоты, что и во сне не сни-

лись даже тем, кто лошадьми торговал; не говоря о тех, кто просто их обучал), – с ходу пускаться в галоп и скакать по кругу в пустом загоне, пока он вернется с любовного свидания, бросит хлыст, поставит эту лошадь на место и угостит ее в награду сахаром или овсом.

Разумеется, речь шла о женщине помоложе, возможно, это была девушка, даже наверняка девушка – ведь его твердое, суровое, прозаическое мужское начало вполне соответствовало и даже было под стать его латинской чопорности – точно так же, как ему вполне естественно пришлись к лицу и оказались в самый раз фрак и белый галстук молодого человека. Но не в том дело. В сущности, одни только развратники гадали, с кем он мог вступить в связь. Для всех остальных, прочих, для большинства новая жертва имела столько же значения, сколько сама миссис Гаррисс. Они сурово осуждали не соблазнителя, а просто еще одного дикого самца-оленья, который бродит по округе, словно местных запасов ему мало. А когда они вспоминали миссис Гаррисс, то лишь как равные и даже превосходящие ее миллионеры. Они называли ее не «несчастной женщиной», а «несчастной дурой».

И некоторое время, сразу после того как все они вернулись из Южной Америки, молодой Гаррисс ездил верхом вместе с капитаном Гуальдресом. А он, Чарльз, уже убедился, что юноша умеет и любит ездить верхом; глядя, как он пытается следовать за капитаном Гуальдресом по трассе с препятствиями, можно было понять, что такое настоящая

верховая езда. И он, Чарльз, думал, что коль скоро в доме гостит человек, в жилах которого течет испанская кровь, у юноши наверное будет с кем фехтовать. Однако фехтовали они или нет, никто так никогда и не узнал, а спустя некоторое время юноша перестал даже и верхом ездить с гостем матери, или ее любовником, или со своим будущим отчимом, или кем он там ему приходился, и теперь юношу видели только изредка, когда он на полном газу проезжал по Площади в спортивном автомобиле с откинутым верхом и кучей барахла на заднем сиденье, либо куда-то направляясь, либо просто возвращаясь домой. И через полгода, если ему – Чарльзу – случилось столкнуться с юношей достаточно близко, чтобы увидеть его глаза, он думал: *«Если б даже на свете было всего две лошади, и обе принадлежали ему, мне надо было очень сильно захотеть покататься на одной из них, чтобы я решил покататься с ним, будь даже мое имя капитан Гуальдрес».*

II

И вот эти люди – марионетки, бумажные куклы; эта ситуация – тупик, моралите, спектакль с рекламой патентованных лекарств – назовите, как вам угодно, – ни с того ни с сего свалились на дядю холодным поздним вечером за месяц до Рождества, и все, что дядя счел уместным, все, что он был расположен или счел необходимым сделать, – это вернуться к шахматной доске, передвинуть пешку и сказать: «Твой ход», словно ничего подобного не случилось, да и вообще на свете не было; он не просто от этого отмахнулся, он все это отбросил и отверг.

Но он, Чарльз, пока что никакого хода не сделал. И на этот раз упрямо повторил:

– Все дело в деньгах.

И дядя на этот раз тоже повторил – отрывисто, кратко, даже резко:

– В деньгах? Этому мальчишке плевать на деньги. Он наверняка терпеть их не может, он умирает от злости всякий раз, когда ему приходится таскать с собой пачку банкнот для какой-нибудь покупки или поездки. Если б дело было только в деньгах, я о нем бы никогда и не услышал. Ему бы не понадобилось врываться ко мне в десять вечера сначала с царским указом, потом с лживым заявлением, потом с угрозой – и все лишь для того, чтобы помешать своей матери выйти

замуж за человека, у которого нет денег. Даже если б у этого человека совсем не было денег, а ведь в случае с капитаном Гуальдресом это, может, и не соответствует действительности.

– Допустим, – сказал он, Чарльз, очень упрямо. – Он не хочет, чтобы его мать или сестра вышла за этого иностранца. Капитан Гуальдрес ему просто не нравится, и этого более чем достаточно.

Теперь дядя и в самом деле перестал говорить; он сидел за шахматной доской и ждал. Потом он заметил, что дядя смотрит на него – неотрывно, задумчиво и очень строго.

– Ладно, ладно, – сказал дядя. – Ладно, ладно, ладно.

Он смотрел на него, Чарльза, и тот почувствовал, что еще не разучился краснеть. Но ему пора было привыкнуть к этому – или, по крайней мере, к тому, что дядя наверняка это помнит, пусть даже у него, Чарльза, это выскочило из головы. Тем не менее он не сдал своих позиций, не опустил голову и, хотя лицо его залил горячий румянец, ответил дяде таким же неотрывным взглядом и словами:

– Да еще и притащил с собой сестру, чтобы заставить ее соврать.

Дядя смотрел на него, теперь уж не насмешливо, даже не пристально, просто смотрел, и все.

– Почему те, кому семнадцать... – сказал дядя.

– Восемнадцать, – сказал он. – Или почти.

– Ладно, – сказал дядя. – Восемнадцать или почти – по-

чему они так уверены, что восьмидесятилетние старики вроде меня не способны принять как должное, отнестись с уважением или даже просто вспомнить, что молодые понимают под страстью и любовью?

– Возможно, потому, что старики уже не способны увидеть разницу между этими чувствами и обыкновенными приличиями – вроде того, чтобы холодным поздним декабрьским вечером не тащить свою сестру за шесть миль с целью заставить ее соврать.

– Ладно, – сказал дядя. – Значит, до тебя дошло. Надеюсь, этого достаточно? Видишь ли, я знаю одного восьмидесятилетнего старика пятидесяти лет от роду, который не сомневается, что семнадцати-, восемнадцати- и девятнадцатилетний – да и шестнадцатилетний тоже – способен на все, и уж во всяком случае на страсть и любовь или на соблюдение приличий, или на то, чтобы ночью притащить свою сестру за шесть или двадцать шесть миль с целью заставить ее соврать, взломать сейф или совершить убийство – если, конечно, ему пришлось ее тащить. Ее никто не заставлял сюда ехать – я, по крайней мере, наручников на ней не видел.

– Однако она приехала, – сказал он, Чарльз. – И соврала. Она отрицала даже то, что они с капитаном Гуальдресом обрuchились. Но когда ты прямо спросила ее, любит ли она его, она сказала «да».

– И за эти слова ее выдворили из комнаты, – сказал дядя. – Это произошло после того, как она сказала правду, на что

я, между прочим, считаю способными семнадцати-, восемнадцати- и даже девятнадцатилетних, когда тому находится причина. Она явилась сюда, они оба явились сюда, заранее условившись, как будто мне врать. Но она испугалась. И тогда каждый из них попытался использовать другого для достижения цели. Только цели-то у них разные.

– Однако, убедившись, что у них ничего не вышло, они оба отступили. Он отступил очень быстро. Он отступил почти так же глубоко, как и начал. Мне на минутку показалось, что он вот-вот вышвырнет ее в прихожую, словно она тряпичная кукла.

– Да, – сказал дядя. – Слишком быстро. Как только он убедился, что на нее полагаться нельзя, он отбросил этот план и решил испробовать что-нибудь другой. А она отступила еще раньше. Как только начала понимать, либо что от него толку не будет, либо что я не собираюсь принимать их слова на веру и, значит, от меня наверное тоже толку не будет. Таким образом, они оба уже решили испробовать что-нибудь другое, и это мне не нравится. Ибо они опасны. Опасны не потому, что глупы – глупость в этом возрасте (прошу прощения, сэръ) вполне естественна, – а потому, что никогда не встречали никого, кто внушил бы им достаточно уважения или страха, чтобы они ему поверили... Твой ход.

Казалось, что вопрос исчерпан; во всяком случае, для дяди; было ясно, что, по крайней мере на эту тему, от него ни слова больше не добиться.

Видимо, вопрос был и впрямь исчерпан. Он сделал ход. Он задумал этот ход очень давно, еще раньше, чем дядя, если считать не только то время, которое уже истекло, а то, которое еще длится, как это делают летчики – ведь ему не требовалось совершить посадку, достаточно длительную, чтобы отбросить вторгшегося противника, а потом снова подняться в воздух, как это требовалось дяде. Своим конем он дал шах и дядиной королеве, и ее ладье. После чего дядя уступил ему пешку, и он, Чарльз, сделал ход, потом ход сделал дядя, а потом, как всегда, все было кончено.

– Может, мне надо было взять королеву двадцать минут назад, когда представилась возможность, а ладью уступить, – сказал он.

– Всегда, – сказал дядя, начиная разбирать белые и черные фигуры, между тем как он, Чарльз, протянул руку к ящику на нижней полке подставки. – Чтобы взять одновременно и ту и другую, тебе надо было сделать два хода. А конь может двигаться на две клетки одновременно и даже в двух направлениях одновременно. Но он не может сделать два хода зараз, – добавил дядя, подталкивая к нему черные фигуры. – Теперь белыми буду играть я, вот ты и попытайся.

– Уже одиннадцатый час, – сказал он. – Почти половина одиннадцатого.

– Да, – сказал дядя, расставляя черные фигуры, – это часто бывает.

– Мне, наверное, пора спать, – незамедлительно и очень

ласково отозвался дядя. – Ты не возражаешь, если я еще посижу?

– Может, это будет даже лучше, – сказал он, Чарльз. – Ведь, наверное, очень интересно заставить врасплох самого себя.

– Прекрасно, прекрасно, – сказал дядя. – Разве я не говорил, что до тебя дошло? Будешь ты играть или не будешь, а фигуры по местам расставь.

Вот и все, что он тогда узнал. Ничего другого он даже и не заподозрил. Но он быстро учился – или быстро схватывал. На этот раз сперва слышались шаги – легкий, звонкий, четкий стук, который производят девушки, шагая по прихожей. За время, проведенное им на дядиной половине, он уже усвоил, что в любом доме или здании, где живут хотя бы две более или менее самостоятельных семьи, никогда не слышно звука шагов. И потому он в ту же секунду (еще прежде, чем она успела постучать, и даже прежде, чем дядя успел сказать: «Теперь твоя очередь опоздать открыть дверь») понял: он, как и сам дядя, наверное все время знал, что она вернется. Только сперва он подумал, что это брат опять послал ее сюда, и лишь потом начал гадать, каким образом она ухитрилась так быстро от него уйти.

Вид у нее был такой, словно она с тех пор безостановочно бежала, а когда он открыл дверь, на минутку остановилась, придерживая одной рукой полы меховой шубы, из-под которой выглядывало длинное белое платье. И быть может, лицо

ее все еще выражало страх, ко взгляд не казался застывшим. И на этот раз она даже долго на него смотрела, хотя в прошлый раз, сколько он мог судить, даже не заметила, что он был в комнате. Потом она отвела от него взгляд. Она вошла и быстро двинулась туда, где (на этот раз) возле шахматной доски стоял дядя.

– Мне надо поговорить с вами наедине, – сказала она.

– Мы и так наедине, – сказал дядя. – Это Чарльз Мэллison, мой племянник. Садитесь, – добавил он, отодвигая от доски один из стульев.

Но она не шевельнулась.

– Нет, – сказала она. – Наедине.

– Если вы не можете сказать мне правду, когда нас тут трое, вы наверное не скажете, если мы будем вдвоем, – возразил дядя. – Садитесь.

Но она опять ни шагу не ступила. Он, Чарльз, не видел ее лица, так как она стояла к нему спиной. Но теперь голос ее звучал совсем иначе.

– Да, – сказала она. Она повернулась к стулу. Потом опять остановилась и, уже нагнувшись, чтобы сесть, полуобернулась и посмотрела на дверь, словно не только ожидала услышать шаги брата, идущего по прихожей, но и готова была бегом вернуться к парадной двери посмотреть, не идет ли он по улице.

Но это едва ли можно было назвать паузой, потому что она села, рухнула на стул в стремительном вихре юбок и ног,

как это свойственно всем девушкам, словно их суставы сочленены не так и расположены не так, как у мужчин.

– Можно я закурю? – сказала она.

Но не успел дядя протянуть руку к пачке сигарет, которых сам не курил, она достала сигарету неизвестно откуда – не из платинового портсигара с драгоценными камнями, как можно было ожидать, нет, она просто вытащила одну-единственную согнутую и измятую сигарету, из которой сыпался табак, словно та уже много дней валялась у нее в кармане; при этом она поддерживала запястье одной руки другой, словно для того, чтоб рука не дрожала, когда она протянет сигарету к спичке, зажженной дядей. Потом она выдохнула дым, сунула сигарету в пепельницу и положила руки на колени – не складывая, а просто плотно прижимая свои маленькие руки к темному меху.

– Он в опасности, – сказала она. – Я боюсь.

– А, – сказал дядя. – Ваш брат в опасности.

– Нет, нет, – сказала она немного раздраженно. – Не Макс, Себас... капитан Гуальдрес.

– Вот оно что, – сказал дядя. – Капитан Гуальдрес в опасности. Я слышал, что он увлекается верховой ездой, хотя ни разу не видел его на лошади.

Она взяла сигарету, сделала две быстрых затяжки, раздавила сигарету в пепельнице, положила руки обратно на колени и снова посмотрела на дядю.

– Хорошо, – сказала она. – Я люблю его. Я это вам уже

говорила. Но с этим все в порядке. Тут ничего не поделаешь. Мама увидела его первой, или он увидел ее первой. Как бы там ни было, они принадлежат к одному поколению. А я нет, потому что Себ... капитан Гуальдрес старше меня лет на восемь или десять, а может и больше. Но это неважно. Потому что дело не в этом. Он в опасности. И если он даже предпочел мне маму, я все равно не хочу, чтобы ему причинили вред. Во всяком случае я не хочу, чтоб моего брата за это посадили в тюрьму.

– Тем более, если его даже и посадят, сделанного этим не вернешь, – сказал дядя. Я с вами согласен: гораздо лучше посадить его прежде.

Она взглянула на дядю.

– Прежде? – спросила она. – Прежде чем что?

– Прежде чем он совершит деяние, за которое его могут посадить, – незамедлительно откликнулся дядя тем фантастически ласковым голосом, который способен был придать не только ясность, но и некую солидную основательность самой фантастической несурзаице.

– А, – сказала она. Она посмотрела на дядю. – Посадить его сейчас? – сказала она. – Я не очень разбираюсь в законах, но знаю, что нельзя посадить человека лишь за намерение что-то сделать. К тому же он просто даст какому-нибудь юристу в Мемфисе двести или триста долларов и на следующий же день выйдет на свободу. Разве нет?

– Да, – сказал дядя. – Просто диву даешься, глядя, как

иной юрист готов за триста долларов в лепешку разбиться.

– Значит, ничего хорошего из этого не выйдет? – сказала она. – Вышлите его.

– Выслать вашего брата? – сказал дядя. – Куда? За что?

– Перестаньте, – сказала она. – Перестаньте. Вы же прекрасно знаете, что если б я могла пойти к кому-нибудь другому, я бы здесь не сидела. Вышлите Себ... капитана Гуальдреса.

– Ах, вот оно что, – сказал дядя. – Капитана Гуальдреса. Боюсь, что иммиграционные власти лишены не только той целеустремленности, но и того размаха, какими отличаются трехсотдолларовые юристы из Мемфиса. Чтобы его выслать, потребуется много недель, а может, и месяцев, тогда как, если для ваших страхов есть основание, даже двух дней будет слишком много. Интересно, что ваш брат будет все это время делать?

– Вы хотите сказать, что вы, юрист, не можете засадить его куда-нибудь и держать там, пока Себастьян не уедет из Америки?

– Засадить кого? – сказал дядя. – И держать где? Она перестала смотреть на дядю, хотя и не пошевелилась.

– Можно я возьму сигарету? – сказала она.

Дядя дал ей сигарету из пачки, лежавшей на столе, поднес спичку, она опять откинулась на спинку стула и, быстро попыхивая сигаретой, продолжала говорить сквозь дым, все еще не поднимая глаз на дядю.

– Ладно, – сказала она. – Когда отношения между ним и Максом в конце концов стали такими скверными, когда я в конце концов поняла, что Макс ненавидит его так сильно, что вот-вот случится нечто ужасное, я уговорила Макса...

– ...спасти жениха вашей матери, – сказал дядя. – Вашего будущего отчима.

– Хорошо, – сказала она, быстро выдыхая дым и держа сигарету двумя пальцами с острыми накрашенными ногтями. – Ведь они с мамой ничего определенного не решили – если вообще им было что решать. И во всяком случае мама не хотела что-нибудь на этот счет решать, потому что... У него и так были бы лошади или хотя бы деньги на покупку новых лошадей, на которой бы из нас он ни женился... – Она быстро попыхивала сигаретой и не смотрела ни на дядю, ни на что другое. – Поэтому, когда я убедилась, что, если ничего не предпринять, Макс рано или поздно его убьет, я условилась с Максом, что, если он подождет сутки, я поеду с ним к вам и уговорю вас выслать его обратно в Аргентину...

– ...где у него не будет ничего, кроме капитанского жалованья, – сказал дядя. – И тогда вы поедете за ним.

– Хорошо, – сказала она. – Да. Поэтому мы приехали к вам, и я увидела, что вы нам не верите и не намерены ничего предпринимать, и значит, единственное, что мне остается сделать, это в вашем присутствии показать Максиму, что я тоже его люблю, и тогда Макс сделает что-нибудь с целью заставить вас поверить, что хотя бы он говорит что думает. И

он так и сделал, и он именно так и думает, и он опасен, и вы должны мне помочь. Должны.

– А вы тоже должны что-то сделать, – сказал дядя. – Вы должны наконец сказать правду.

– Я вам сказала правду. И теперь тоже правду говорю.

– Но не всю. Что произошло между вашим братом и капитаном Гуальдресом? Но на этот раз не втирайте мне очки.

Она быстро взглянула на дядю сквозь дым. От сигареты теперь остался только маленький окурочок, зажатый кончиками наманикюренных ногтей.

– Вы правы, – сказала она. – Дело не в деньгах. Деньги его не интересуют. Их более чем достаточно для Себ... для всех нас. Дело даже не в маме. Дело в том, что Себастьян всегда его побеждал. Во всем. Когда Себастьян появился, у него даже не было собственной лошади, и хотя Макс тоже прекрасно ездит верхом, Себастьян его победил, победил его на лошадях Макса, на тех самых лошадях, которыми – что Макс отлично знает – Себастьян завладеет, как только мама соберется с духом и скажет «да». И Макс был самым лучшим из всех учеников Паоли, а Себастьян однажды взял метлу для камина и парировал два укола, а Макс не выдержал, сорвал шишечку и пошел на него с голой рапирой, а Себастьян вместо рапиры отбивал его выпады метлой, пока наконец кто-то схватил Макса...

Она дышала не так тяжело, как часто, стремительно, чуть не задыхаясь, все еще пытаясь затянуться сигаретой, которая

была бы слишком коротка, если б даже рука ее была достаточно твердой, чтобы твердо эту сигарету держать; сжавшись в комочек, она притулилась на стуле, словно в облаке белого батиста и шелка и густых переливов темных шкурок убитых зверьков, не столько бледная, сколько слабая и хрупкая, и не столько хрупкая, сколько эфемерная и холодная, как один из тех ранних белых весенних цветов, что расцвели до поры среди снега и льда и уже заранее обречены умереть у вас на глазах, даже не зная, что умирают, даже не чувствуя боли.

– Это было после, – сказал дядя.

– Что? После чего?

– Это случилось, – сказал дядя. – Но это было после. Никто не хочет видеть другого мертвым лишь потому, что тот заткнул его за пояс на лошади или на рапирах. Во всяком случае, не пытается превратить желаемое в действительное.

– Да, – сказала она.

– Нет, – сказал дядя.

– Да.

– Нет.

Она наклонилась и положила окурок в пепельницу так осторожно, словно это было яйцо или капсула с нитроглицерином, и снова откинулась на спинку стула, даже не сложив руки, а просто оставив их свободно лежать на коленях.

– Ну хорошо, – сказала она. – Я этого боялась. Я говорила... я знала, что вы этим не удовлетворитесь. Тут замешана женщина.

– А... – сказал дядя.

– Я думала, вы удовлетворитесь, – сказала она, и голос ее опять изменился, в третий раз с тех пор, как она менее десяти минут назад вошла в комнату. – Там, в двух милях от нашего заднего крыльца. Дочь фермера. Да, – добавила она, – я и это знаю: Вальтер Скотт, или Гарди, или еще кто-то триста лет назад – молодой лендлорд и вилланы, *droit du seigneur*⁴ и все такое прочее. Но только на этот раз ничего такого не было. Потому что Макс подарил ей кольцо. – Теперь она снова сжала руки, оперлась ими на подлокотники и опять не смотрела на дядю. – На этот раз все было иначе. Лучше, чем бы мог придумать Гарди или Шекспир. Потому что на этот раз было двое городских юношей: не только богатый молодой граф, но и чужеземный друг молодого графа или, во всяком случае, гость семейства, безвестный романтический чужеземный рыцарь, который победил молодого графа, разъезжая верхом на лошадях молодого графа, а потом с помощью каминной метлы отобрал у молодого графа шпагу. И наконец ему осталось только подъехать ночью к окошку подруги молодого графа и свистнуть... Подождите, – сказала она.

Она поднялась. Еще не успев встать на ноги, она уже двинулась вперед. Она пересекла комнату и, прежде чем он, Чарльз, успел хотя бы шевельнуться, рывком распахнула дверь, и в прихожей послышался громкий торопливый стук ее каблуков. Потом хлопнула парадная дверь. А дядя все сто-

⁴ Право господина (*фр.*).

ял, глядя на открытую дверь.

– Что? – сказал он. – Что?

Но дядя не ответил, дядя все еще смотрел на дверь, и чуть прежде, чем дядя успел ответить, они снова слышали хлопанье парадной двери, потом громкий гулкий стук девичьих каблучков в прихожей – теперь их было две пары, – и девушка Гаррисс быстро вошла, пересекла комнату, закинула руку назад и сказала:

– Вот она, – пошла дальше и снова вихрем опустилась на стул, а они с дядей тем временем смотрели на вторую девушку – это была деревенская девушка, он и раньше встречал ее в городе по субботам, но теперь этих деревенских девушек трудно было отличить от городских, потому что и те и другие красили губы, щеки, а иногда и ногти, а одежда фирмы «Сирс и Роубак» теперь совсем не походила на «Сирс и Роубак», а иногда вовсе не была куплена у «Сирса и Роубака», даже если ее и не отделявали норкой стоимостью в тысячу долларов, – девушка примерно того же возраста, что и девушка Гаррисс, но пониже ростом, стройная, но в то же время плотная, какими бывают девушки, выросшие в деревне, темноволосая, черноглазая – она мельком взглянула на него, а потом на дядю.

– Входите, – сказал дядя. – Я мистер Стивене, а ваша фамилия Моссоп.

– Знаю, – сказала девушка. – Нет, сэр. Это моя мама была Моссоп. А мой отец Хенс Кейли.

– Кольцо при ней, – сказала девица Гаррисс. – Я попросила ее захватить его, я знала, что вы не поверите – я ведь тоже не поверила, когда про него услышала. Я не осуждаю ее за то, что она его не носит. Я бы тоже не носила кольцо человека, который сказал бы мне то, что Макс сказал ей.

Девица Кейли с минуту смотрела на девицу Гаррисс своими черными глазами – холодным, немигающим, очень спокойным взглядом, – меж тем как девица Гаррисс взяла из пачки еще одну сигарету, но на этот раз никто не подошел зажечь ей спичку.

Потом девица Кейли опять посмотрела на дядю. В глазах ее пока не было ничего особенного. Они просто наблюдали.

– Я это кольцо никогда не носила. Мне отец не велел. Он сказал, что от Макса толку не будет. Да я и сама его кольцо даже держать у себя не собираюсь, и как только я его найду, сразу же ему отдам. Потому что я теперь тоже так не думаю...

Девица Гаррисс издала какой-то звук. Он, Чарльз, подумал, что навряд ли она могла научиться издавать такие звуки в швейцарском монастыре. Девица Кейли еще раз глянула на нее задумчивым твердым взглядом своих черных глаз. Но в глазах ее все еще не было ничего особенного. Потом она снова посмотрела на дядю.

– Я не обиделась на то, что он мне говорил. Мне не понравилось, как он говорил. Может, он тогда иначе сказать не мог. А надо было. Да только я на него не сердилась – значит,

он думал, что говорит так, как надо.

– Понятно, – сказал дядя.

– Я бы не обиделась на эти слова, – сказала она.

– Понятно, – сказал дядя.

– Но он был неправ. Он с самого начала был неправ. Он сказал, что ты, мол, лучше кольцо пока не носи, а то люди увидят. Я даже не успела ему сказать, что я и так отцу не скажу, что я у него кольцо взяла...

Девушка Гаррисс снова произвела тот же звук. На этот раз девушка Кейли замолчала, очень медленно повернула голову и секунд пять или шесть смотрела на девушку Гаррисс, а та сидела, держа пальцами незажженную сигарету. Потом девушка Кейли опять посмотрела на дядю.

– Это он сказал, что нам лучше не обручаться, кроме как по секрету. А раз я не обручилась кроме как по секрету, я не видела причины, почему бы капитан Гольдез...

– Гуальдрес, – сказала девушка Гаррисс.

– Гольдез, – сказала девушка Кейли, – или кто другой не может приехать, посидеть у нас на крыльце и с нами поболтать. А я люблю кататься верхом, да еще на лошадях, у которых нет нагнетов, и потому, когда он приводил вторую лошадь для меня...

– Откуда ты могла узнать, есть у ней нагнеты или нет, если было темно? – спросила девушка Гаррисс.

Теперь девушка Кейли, все еще неторопливо, повернулась всем телом и посмотрела на девушку Гаррисс.

– Что? – проговорила она. – Что вы сказали?

– Ну-ну, – сказал дядя. – Прекратите это.

– Ах вы, старый дурак, – сказала девица Гаррисс. На дядю она даже не смотрела. – Неужели вы думаете, что какой-нибудь мужчина, кроме такого, как вы, который уже одной ногой в могиле, станет один каждую ночь ездить взад-вперед по пустой площадке для конного поло?

Тут девица Кейли зашевелилась. Она быстро пошла вперед, нагнулась, задрала подол юбки, на ходу вытащила у себя из чулка какой-то предмет, остановилась перед стулом, и будь это нож, и он, Чарльз, и дядя опять бы опоздали.

– Встаньте, – сказала она.

Теперь уже девица Гаррисс, подняв глаза и все еще держа возле рта незажженную сигарету, сказала:

– Что?

Но девица Кейли больше ничего не произнесла. Своими стройными плотными ногами она сделала шаг назад, подняла руку и, хотя дядя уже рванулся было к ней с криком: «Прекратите! Прекратите!», размахнулась, ударила девицу Гаррисс по лицу, по сигарете и по державшей сигарету руке – все разом, – а девица Гаррисс дернулась на стуле, но осталась сидеть, держа трясущимися пальцами сломанную сигарету; на щеке у нее появилась длинная тонкая царапина, а потом кольцо с большим брильянтом, посверкивая, прокатилось по ее шубе и упало на пол.

Девица Гаррисс какой-то миг смотрела на сигарету. Потом

она посмотрела на дядю.

– Она меня ударила! – сказала она.

– Я видел, – сказал дядя. – Я как раз сам хотел... – Тут он подпрыгнул, и не напрасно, потому что девица Гаррисс быстро поднялась со стула, а девица Кейли уже снова отступила. Но дядя их опередил; на этот раз он очутился между ними, одной рукой отбросил девицу Гаррисс, другой – девицу Кейли, и обе тотчас разразились громким ревом – ни дать ни взять две трехлетние девчонки после драки, – а дядя, секунду понаблюдав за ними, нагнулся и поднял кольцо.

– Хватит, – сказал он. – Перестаньте. Обе. Ступайте в ванную и умойтесь. Вон в ту дверь. Только не вместе, – быстро добавил он, когда обе двинулись вперед. – По одной. Сначала вы, – сказал он девице Гаррисс. – Там в шкафчике есть кровоостанавливающее. Если хотите и если боитесь бешенства. Проводи ее, Чик.

Но она уже ушла в спальню. Девица Кейли стояла, вытирая нос ладонью, и дядя протянул ей свой носовой платок.

– Извиняюсь, – сказала она, шмыгая носом и сопя, – она сама виновата.

– Не надо было ее слушать, – сказал дядя. – Она, наверно, оставила вас дожидаться внизу в автомобиле. Подъехала к вашему дому и взяла вас с собой.

Девица Кейли высморкалась в носовой платок.

– Да, сэр, – сказала она.

– В таком случае тебе придется отвезти ее домой, – не обо-

рачиваясь, сказал дядя ему, Чарльзу. – Вдвоем им нельзя...

Но девушка уже привела себя в порядок. Она тщательно вытерла нос справа и слева и уже собралась было вернуть дяде платок, как вдруг опустила руку и остановилась.

– Я поеду с ней, – сказала она. – Я ее не боюсь. Даже если она довезет меня только до своих ворот, там всего две мили остается.

– Вот и хорошо, – сказал дядя. – Возьмите, – он протянул ей кольцо. Кольцо было с большим брильянтом, и он тоже остался цел. Девица Кейли едва на него взглянула.

– Я его не возьму, – сказала она.

– Я б на вашем месте тоже не взял. Но из уважения к себе вы должны вернуть его своей рукой.

Девица Кейли взяла кольцо, потом девица Гаррисс возвратилась, а она пошла умываться, все еще держа в руке платок. Девица Гаррисс вновь приняла обычный вид, только на щеке у ней осталась глазированная полоска кровоостанавливающего средства, которым она замазала царапину; и теперь при ней была платиновая коробочка – отделанная драгоценными камнями – с пудрой и прочим. Она не смотрела ни на него, ни на дядю. Она смотрелась в зеркало на крышке коробочки и приводила в порядок свое лицо.

– Мне, наверно, надо извиниться, – сказала она. – Но я думаю, что юристам в их профессиональной практике приходится сталкиваться со всякими неожиданностями.

– Мы пытаемся избегать кровопролития, – сказал дядя.

– Кровопролития... – повторила она. Тут она забыла про свое лицо и про платиновую пудреницу, грубости и нахальства как не бывало, и когда она посмотрела на дядю, глаза ее снова выражали страх и ужас, и тогда он понял: каковы бы ни были их с дядей предположения о том, что ее брат сможет, захочет или сумеет сделать, она никаких сомнений на сей счет не питает.

– Вы должны что-то сделать, – сказала она. – Должны. Если б я знала, к кому кроме вас обратиться, я бы вас не беспокоила. Но я...

– Вы сказали, что он обещал вам в течение суток ничего не делать, – сказал дядя. – Как вы думаете – считает ли он еще, что связан этим обязательством, или он последует вашему примеру и предпримет что-нибудь у вас за спиной?

– Не знаю, – сказала она. – Вот если б вы могли запереть его на то время, пока я...

– Чего я не могу, равно как и добиться высылки второго еще до завтра. Почему бы вам самой его не выслать? Вы же говорили, что вы...

Теперь ее лицо выражало и страх, и отчаяние.

– Я не могу. Я пыталась. Может, мама в конце концов более мужественный человек, чем я. Я даже пыталась сказать ему... Но он такой же, как вы – он тоже не верит, что Макс опасен. Он говорит, это все равно, что удирать от младенца.

– Вот именно, – сказал дядя. – Именно поэтому.

– Что – «именно поэтому»?

– Ничего, – сказал дядя. Он не смотрел на нее, не смотрел ни на кого из них и, насколько он, Чарльз, мог судить, ни на что вообще. Он просто стоял и потирал большим пальцем чашечку кукурузной трубки.

Потом она сказала:

– Можно я возьму еще одну сигарету?

– Почему бы нет? – сказал дядя.

Она вынула сигарету из пачки, и на этот раз прикурить ей дал он, Чарльз; он прошел мимо дяди к подставке, осторожно ступая между рассыпанными по полу шахматными фигурами; когда он зажигал спичку, в комнату вошла девица Кейли, она тоже ни на кого не посмотрела и сказала дяде:

– Он на зеркале.

– Что? – сказал дядя.

– Ваш носовой платок, – сказала девица Кейли. – Я его выстирала.

– А... – сказал дядя, а девица Гаррисс сказала:

– Разговаривать с ним бесполезно. Вы уже раз пытались.

– Не помню, – сказал дядя. – Не помню, чтобы кто-нибудь, кроме него, сказал хоть слово. Но насчет разговоров вы правы. Сдается мне, будто все это дело началось из-за того, что кто-то уже слишком много наговорил.

Но она даже не слушала.

– И сюда нам его тоже во второй раз не затащить. Поэтому вам придется поехать туда...

– Спокойной ночи, – сказал дядя.

Она совсем его не слушала.

– ...утром, пока он еще не встал и куда-нибудь не уехал.

Утром я вам позвоню и скажу, когда будет подходящее время...

– Спокойной ночи, – опять сказал дядя.

После этого они удалились – прошли через дверь

гостиной, разумеется, оставив ее открытой, то есть оставила ее открытой девица Гаррисс, но когда он пошел закрывать дверь, девица Кейли вернулась, чтоб это сделать, однако, увидев его, передумала. Когда он уже готов был закрыть дверь, дядя сказал: «Подожди»; он остановился, придерживая дверь, и они услышали из передней громкий гулкий стук девичьих каблучков, а потом, как и следовало ожидать, хлопнула парадная дверь.

– То же самое мы думали в прошлый раз, – сказал дядя. –

Сходи и проверь.

Однако на этот раз они ушли. Стоя у открытой парадной двери в свежей зябкой безветренной декабрьской тьме, он услышал рев мотора и стал смотреть, как огромный автомобиль, с ходу взяв предельную скорость, накренился, взвыл, визжа шинами, завернул за угол, хвостовые огни тоже с чрезмерной быстротою всосала тьма, и еще долго после того, как машина уже наверное пересекла Площадь, ему все еще казалось, будто он слышит запах истерзанной резины.

Потом он возвратился в гостиную, где дядя теперь сидел среди разбросанных шахматных фигур и набивал трубку. Не

останавливаясь, он поднял доску и положил ее на стол. К счастью, драка разыгралась с другой стороны, так что на фигуры никто не наступил. Он собрал их вокруг дядиных ног, расставил по местам на доске и даже выдвинул белую ферзевую пешку, как полагалось в традиционном дебюте, на котором настаивал дядя. Дядя все еще набивал трубку.

– Значит, они все-таки не ошиблись насчет капитана Гуальдреса, – сказал он. – Тут была замешана девушка.

– Какая девушка? – сказал дядя. – Ведь одна из них сегодня вечером дважды проехала шесть миль лишь с целью убедиться, что мы поняли: она хочет, чтобы ее имя связывали с капитаном Гуальдресом, причем на любых условиях; а вторая не только прибегла к рукоприкладству, чтобы опровергнуть клевету, но не может даже правильно произнести его фамилию.

– Да... – начал было он. Но ничего не сказал. Он подвинул свой стул и опять уселся. Дядя внимательно смотрел на него.

– Ну как, выспался? – спросил дядя.

Это тоже не сразу до него дошло. Но ему оставалось только ждать – расшифровывать свои остроты дядя не торопился, особенно, когда они были действительно остроумны, действительно блестящи, а тем более, когда он просто прибегал к красному словцу.

– Полчаса назад ты уже собирался ложиться. Я даже не мог тебя остановить, – сказал дядя.

– И чуть не пропустил что-то интересное, – сказал он. –

На этот раз я ничего пропускать не намерен.

– Сегодня больше ничего интересного не будет.

– Я тоже так подумал, – сказал он. – Эта Кейли...

– ...благополучно сидит дома, – сказал дядя. – Где, надеюсь и верю, она и останется. И вторая тоже. Твой ход.

– Я уже сделал ход, – сказал он.

– В таком случае, сделай еще один, – сказал дядя, выдвигая свою пешку навстречу белой. – И на этот раз смотри в оба.

А он-то думал, что смотрит, и вообще всегда следит и наблюдает. Да только все его наблюдения, казалось, свелись к одному: он чуть быстрее обычного убедился, что эта партия закончится, точь-в-точь как предыдущая, но тут дядя неожиданно очистил доску и поставил перед ним одну-единственную задачу, для решения которой требовались всего лишь два коня, две ладьи и две пешки.

– Так ведь это уже не игра, – сказал он.

– Все то, в чем могут отразиться, а затем найти подтверждение все человеческие страсти, надежды и безумства, никогда и не было просто игрой, – сказал дядя. – Твой ход.

На сей раз зазвонил телефон, и на сей раз он знал, что это будет именно звонок по телефону, и даже что именно по телефону скажут; ему даже не надо было слушать, да и у дяди разговор не занял много времени:

– Да? Говорит... Когда? Понятно. Как только вы приехали домой, вам сообщили, что он упаковал чемодан, взял ав-

томобиль и сказал, что едет в Мемфис... Нет, нет, никогда не следует учить ученого и приглашать на прогулку почталыона. – С этими словами дядя положил телефонную трубку и, не отнимая от нее руки, сидел не шевелясь, даже как будто не дыша, даже не потирая пальцем чашечку курительной трубки; сидел так долго, что он, Чарльз, хотел было уже заговорить, но тут дядя поднял трубку и вызвал номер в Мемфисе – что также не заняло много времени – номер мистера Роберта Марки, адвоката и политического деятеля, который учился с дядей в Гейдельберге:

– Нет, нет, не надо полицейских; они не смогут его задержать. Да я и не хочу, чтобы его задерживали, я только прошу установить за ним наблюдение, чтоб он не мог уехать из Мемфиса тайком от меня. Хороший частный детектив, просто чтобы незаметно за ним следить – если только он не попытается уехать из Мемфиса... Что? Я никогда не санкционирую кровопролитие, тем более при свидетелях... Да, пока я не приеду и не займусь им сам, завтра или послезавтра... В гостинице... Там ведь только одна – Гринбери. Вы когда-нибудь встречали жителя штата Миссисипи, который бы знал о существовании какой-нибудь другой гостиницы? (Это вполне соответствовало действительности – существовала даже поговорка, что штат Северное Миссисипи начинается в холле гостиницы Гринбери...) Под чужой фамилией? Он? Последнее, чего он избегает, это известность. Он наверняка позвонит во все газеты, чтобы они, не дай бог, не

перепутали его фамилию и местопребывание и непременно опубликовали эти сведения... Нет, нет, просто утром сообщите мне телеграммой, что вы взяли его под наблюдение, и держите его под наблюдением, пока я вам не позвоню. – Он положил трубку, встал, но к шахматной доске не вернулся, а вместо этого пошел к двери, открыл ее и держал ручку, пока он, Чарльз, наконец к нему не присоединился. Он встал и взял книгу, которую начал читать наверху три часа назад. Но на этот раз он заговорил, и на этот раз дядя ему ответил.

– Чего ты от него хочешь?

– Ничего, – сказал дядя. – Я всего лишь хочу знать, что он в Мемфисе и остается там. Так он и сделает; он хочет, чтобы и я, и все на свете были уверены: он благополучно пребывает в Мемфисе или в любом другом месте, кроме Джефферсона, штат Миссисипи, и никому не причиняет вреда, и хочет он этого вдесятеро больше, чем я хочу об этом знать.

Но до него, Чарльза, это тоже не сразу дошло, ему пришлось задать еще один вопрос.

– Ему нужно алиби, – сказал дядя.

Вот оно что.

– Для всего, что он собирается предпринять, для любого фокуса, который он придумал, чтобы запугать жениха своей матери и заставить его отсюда уехать.

– Фокус? – спросил он. – Какой фокус?

– Почему я знаю? – сказал дядя. – Спроси сам себя; тебе восемнадцать лет или вот-вот стукнет восемнадцать, и потому

ты знаешь, что сделает девятнадцатилетний мальчик: может, это будет письмо за подписью Черной Руки, а может, даже довольно меткий выстрел в окно спальни. Мне пятьдесят; я знаю только, что девятнадцатилетние способны решительно на все, и мир взрослых может чувствовать себя в безопасности лишь благодаря одному: они заранее настолько уверены в успехе, что принимают желание и намерение за совершившийся факт, а скучные технические подробности их просто не интересуют.

– Значит, если фокус не удастся, тебе не о чем беспокоиться, – сказал он.

– Я и не беспокоюсь, – сказал дядя. – Это меня беспокоит. Хуже того – раздражают. Мне только нужно, чтобы я – или мистер Марки – мог держать его в поле зрения до тех пор, пока я завтра смогу позвонить его сестре, и она – или их мать, или любой другой член семьи, который способен или считает себя способным хоть сколько-нибудь воздействовать на него, или на одного из них в отдельности, или на обоих вместе – сможет поехать туда, забрать его и поступить с ним так, как они сочтут нужным; я бы посоветовал связать его и посадить в конюшню, чтоб его будущий отец (возможно, после этого капитан Гуальдрес даже преодолел бы свою девичью нерешительность и согласился на немедленное бракосочетание) хорошенько отделал его хлыстом.

– Да, – сказал он. – Во всяком случае, ясно, что дело вовсе не в этой Кейли. Может, если бы он приехал сюда сегодня

вечером и увиделся с ней, когда его сестра...

– Никто и в мыслях не имел, что все дело в Кейли, разве только его сестра, – сказал дядя. – Это она внушила ему, будто дело только в ней, и затеяла всю эту историю. Чтобы заполучить своего мужчину. Может, она думала, что стоит ее брату направить капитана по ложному следу, как он тотчас отсюда уедет. А может, надеялась, что для воздействия на капитана достаточно будет осторожности и здравого смысла; в обоих случаях ей придется последовать за ним в любое место в Соединенных Штатах или даже обратно в Аргентину (где, разумеется, нет других женщин) и посредством неожиданного обходного маневра или просто компромисса победить, превратив его в приверженца моногамии. Но она его недооценила, она бросила тень на его репутацию, приписав ему еще и преступную зрелость.

Дядя держал дверь открытой и смотрел на него.

– В сущности, единственная их болезнь – это молодость. Однако – впрочем, я, кажется, уже говорил, что молодость очень напоминает бубонную чуму или оспу.

– Да, – снова сказал он. – Может, это относится и к капитану Гуальдресу. Насчет него мы ошиблись. Я думал, ему лет сорок. Но она сказала, будто он старше ее всего лет на восемь или десять.

– Значит, она думает, что он старше лет на пятнадцать, – сказал дядя. – Значит, он наверняка старше лет на двадцать пять.

– На двадцать пять? – спросил он. – Это возвращает его в ту категорию, к которой он и принадлежал.

– А разве он когда-нибудь из нее выходил? – сказал дядя. Он все еще держал дверь открытой. – Ну? Чего ты ждешь?

– Ничего, – сказал он.

– В таком случае, спокойной ночи и тебе тоже, – сказал дядя. – Ступай домой и ты. Этот детский сад на сегодня закрыт.

III

Ну что ж, раз так, то он пошел к себе наверх и лег спать, предварительно сняв военную форму или, как выражались в Службе подготовки офицеров запаса, «сбросил коричневую шкуру». Дело в том, что был четверг, а по четвергам батальон всегда занимался строевой подготовкой. А он в этом году был назначен курсантом-подполковником, а кроме того, строевую подготовку вообще никто не пропускал, – ведь хоть в Джефферсонской школе проводилось только начальное военное обучение, она получила одну из высших оценок в стране за подготовку офицеров запаса, и на последнем смотре сам генеральный инспектор сказал курсантам: когда начнется война, каждый, кто сможет доказать, что ему исполнилось восемнадцать лет, почти автоматически получит право поступить в офицерское училище.

Следовательно, и он тоже – ведь до восемнадцати ему оставалось совсем чуть-чуть. Да только теперь неважно, будет ему восемнадцать, восемь или восемьдесят, – ведь даже если восемнадцать ему исполнится завтра утром, он все равно опоздает. Пока он сможет добраться до офицерского училища, а тем более завершить курс, война кончится, и люди уже обретут способность о ней забывать.

Да и вообще, для Соединенных Штатов она уже кончилась: англичане, горстка мальчишек – кто его ровесники,

а кто и моложе, – летавшие на истребителях Королевских военно-воздушных сил, остановили их на западе, и теперь всей этой необоримой волне победы и разрушения оставалось только исчезнуть в бесконечных просторах России – подобно тому, как подгоняемая шваброй грязная вода расплзается по кухонному полу, – так что в течение пятнадцати месяцев начиная с осени 1940 года, всякий раз, снимая военную форму или вешая ее обратно в шкаф (это и в самом деле была саржа цвета хаки, какую носят настоящие офицеры, только вместо сержантских нашивок на ней красовались голубые петлицы и канты Службы подготовки офицеров резерва, вроде эмблем студенческих братств, а также невинные металлические ромбы наподобие тех, что вечно красуются на плечах спесивых гостиничных швейцаров или капельмейстеров циркового оркестра, – все для того, чтоб еще больше отдалить эту форму от царства доблести, риска и томления духа, жаждущего почета и славы), всякий раз, глядя на нее, томясь духовною жаждой (если то была она) и чувством невосполнимой утраты, которое владело им эти последние месяцы, когда он понял, что уже слишком поздно, что он слишком долго оттягивал, мешкал и медлил, и не только от недостатка смелости, но и от отсутствия желания, воли и жажды, – всякий раз этот коричневый цвет менялся, претерпевал несуразные превращения, рассеивался и, словно отдельный кинокадр, переходил в синий цвет Британии, в загнутые крылья ныряющего сокола и скром-

ные галуны воинского звания, но самое главное – в синеву, в синий цвет, который горстка молодых англосаксов провозгласила и назначила столь наглядным синонимом славы, что лишь прошлой весной профсоюз американских галантерейщиков и мужских портных сделал его непременно атрибутом своей торговой рекламы, и теперь каждый удачливый обитатель Соединенных Штатов, располагавший соответствующей суммой, мог пасхальным утром явиться в церковь, осиянный ореолом доблести и в то же время застрахованный от знаков ответственности и разноцветных нашивок риска.

Однако он все же совершил нечто вроде попытки (впрочем, воспоминание о ней ничуть его не утешало). В нескольких милях от города жил фермер, капитан Уоррен, служивший командиром авиаотряда в прежних Британских воздушных силах сухопутной армии, до того, как они стали Королевскими военно-воздушными силами; он съездил к нему два года назад, когда ему только-только исполнилось шестнадцать.

– Как вы думаете, если я сумею добраться до Англии, они меня примут? – спросил он.

– Шестнадцать – это маловато. А добраться до Англии сейчас трудно.

– Но если я все-таки туда доберусь, они меня возьмут?

– Возьмут, – сказал капитан Уоррен. Потом капитан Уоррен добавил: – Послушай. У тебя уйма времени. У нас у всех

будет еще уйма времени, пока все кончится. Почему бы не подождать?

Вот он и ждал. Да только ждал он слишком долго. Он смог сказать себе, что последовал совету героя, и это хотя бы отчасти утолило его духовную жажду – ведь коль скоро он внял совету героя, то пусть даже ему и не хватило смелости, стыдиться ему нечего.

Потому что теперь было слишком поздно. Да и вообще, для Соединенных Штатов ничего и не начиналось, и потому Соединенным Штатам все это будет стоить только денег; деньги же, по словам дяди, самое дешевое из всего, что можно потерять или потратить; цивилизация и придумала-то их затем, чтоб они стали той единственной субстанцией, посредством которой человек может делать покупки и с выгодой для себя за них расплачиваться.

Поэтому цель призыва на военную службу состояла, очевидно, только в том, чтобы дядя смог констатировать факт уклонения Макса Гаррисса от явки на призывной пункт, а коль скоро констатация этого факта повлекла за собой лишь перерыв шахматной партии и убыток в размере шестидесяти центов, уплаченных за телефонный разговор с Мемфисом, дело даже и того не стоило.

Вот он и лег спать; завтра пятница, и значит, ему не придется надевать псевдохаки, чтобы потом эту коричневую шкуру сбрасывать, и еще целую неделю он не будет мучиться духовной жадой (если это была она). Утром он позав-

тракал; дядя уже поел и ушел; по дороге в школу он забежал в дядину контору за тетрадкой, которую оставил там накануне, и узнал, что в Мемфисе Макса Гаррисса нет – пока он был в конторе, принесли телеграмму от мистера Марки: *«Отсутствующий принц отсутствует здесь тоже что дальше; еще до его ухода дядя попросил рассыльного подождать и написал ответ: «Дальше ничего только спасибо».* Ну что ж, подумал он, значит, тем дело и кончилось; в полдень, когда он подошел к тому углу, где дядя ждал его, чтоб вместе идти домой обедать, он даже ничего не спросил; дядя сам сказал ему: мистер Марки позвонил и сообщил, что Гаррисса, как видно, хорошо знают не только все клерки, телефонистки, негры-швейцары, посыльные и официанты в гостинице Грин-бери, но и приказчики всех винных лавок и водители такси в той части города, и что он, мистер Марки, даже справлялся в других гостиницах на тот невероятный случай, если существует хотя бы один житель штата Миссисипи, который слышал о существовании в Мемфисе других гостиниц.

И тогда он, подобно мистеру Марки, спросил:

– Что дальше?

– Не знаю, – сказал дядя. – Хотелось бы верить, что он отряхнул со своих ног прах всех их вместе взятых и сейчас находится где-нибудь на расстоянии добрых пятисот миль отсюда и едет дальше, да только я не могу бросить тень на его репутацию, заочно приписав ему здравомыслие.

– Может, оно у него есть, – сказал он.

Дядя остановился.

– Что? – сказал он.

– Ты ведь только вчера вечером говорил, что девятнадцатилетние способны на все.

– А, – сказал дядя. – Да, – сказал дядя. – Конечно, – сказал дядя и пошел дальше. – Может, и есть.

Вот, собственно, и все: после обеда он проводил дядю до угла той улицы, где помещалась контора, а потом сидел на уроке истории, который мисс Мелисса Хогганбек теперь называла «Международные Дела» (оба слова с заглавной буквы) и который дважды в неделю наносил духовной жажде (если то была она) намного больше ущерба, чем неизбежные будущие четверги, когда снова придется таскать на себе «коричневую шкуру», саблю и вечные звездочки на погонах и с серьезным видом изображать из себя участника фальшивой игры в войну; а пока что неутомимый, хорошо поставленный голос высокообразованной «леди» с каким-то фанатическим неистовством толковал о мире и безопасности: нам теперь ничто не угрожает, ибо старые, изнуренные европейские народы слишком хорошо усвоили урок 1918 года и не только не смеют на нас напасть, а просто не могут этого себе позволить, – толковал до тех пор, пока не начинало казаться, будто весь одичавший расшатанный мир сошел на нет и превратился в это бесплотное неумолчное бормотанье – оно даже не отдается эхом в надежно изолированных глухих стенах

классной комнаты, а с действительностью связано во сто крат меньше, чем даже сабля и звездочки. Ведь сабля и звездочки – по крайней мере атрибуты того, что они пародируют, тогда как вся Национальная служба подготовки офицеров резерва, по мнению мисс Хогганбек, вообще совершенно необъяснимый и ненужный элемент системы образования, особенно в младших классах.

Все осталось по-прежнему, даже когда он, возвращаясь из школы, увидел ту лошадь. Она находилась в кузове заляпанного грязью фургона для перевозки лошадей, стоявшего в переулке за Площадью, а вокруг торчало полдюжину мужчин, которые с весьма почтительного расстояния этот фургон рассматривали, и он даже не сразу увидел, что лошадь привязана к бортам фургона, причем не веревками, а стальными цепями, словно это был лев или слон. Дело в том, что вначале он даже толком не успел посмотреть на фургон. Он даже еще не разобрал, не усвоил, что в нем стоит лошадь, потому что как раз в ту самую минуту заметил, что по переулку идет сам мистер Маккалем, и перешел улицу, намереваясь с ним поговорить. Они с дядей часто ездили за пятнадцать миль от города на ферму Маккалемов стрелять куропаток, а прошлым летом, пока школьники еще не вступили в резерв, он ездил туда один и ночевал в лесу или в пойме ручья, где вместе с близнецами – племянниками Маккалема – охотился на лис и енотов.

И тут он узнал лошадь – не потому, что ее увидел (он ведь

прежде никогда ее не видел), а потому, что увидел мистера Маккалема. Ведь все жители округа знали про эту лошадь – про этого чистокровного, породистого, но абсолютно никуда не годного жеребца; они – жители округа – утверждали, будто, купив его, мистер Маккалем единственный раз в жизни прогадал – даже если расплатился не деньгами, а купонами на табак или мыло.

Этот конь был испорчен – его то ли совсем молодым жеребенком, то ли позже испортил кто-то из владельцев, пытавшийся страхом или силой сломить его дух. Однако дух его не был сломлен, но из своего жизненного опыта (в чем бы таковой ни заключался) он вынес ненависть к каждому, кто стоит вертикально и ходит на двух ногах, – ненависть или омерзение, злобу и желание раздавить насмерть, какое многие люди испытывают даже к безобидным неядовитым змеям.

Жеребец не годился ни для верховой езды, ни для продолжения рода. Рассказывали, будто он убил двоих мужчин, которые случайно оказались по ту же сторону забора, что и он. Впрочем, последнее было маловероятно – в этом случае его бы просто-напросто пристрелили. Высказывалось предположение, будто мистер Маккалем купил этого жеребца у человека, который хотел его пристрелить. Возможно, он думал, что сумеет его укротить. Во всяком случае, он упорно отрицал, что жеребец кого-то убил, и скорей всего надеялся его продать – ведь еще ни одна лошадь на свете не была так плоха, как утверждал ее покупатель, или так хороша, как

уверял ее продавец.

Однако мистер Маккалем знал, что эта лошадь способна убить человека, а жители округа не сомневались, что по его мнению она обязательно кого-нибудь убьет. Ведь хотя сам мистер Маккалем и приходил на луг, где лошадь паслась (однако никогда не заходил ни в конюшню, ни в денник, где она могла бы загнать его в угол), он не пускал туда никого другого; говорили, будто кто-то хотел купить у него эту лошадь, но он ее не продал. Что тоже смахивало на легенду – ведь мистер Маккалем сам говорил, что охотно продаст любую тварь, которая неспособна стоять на задних лапах и называть его по имени, ибо в том состоит его бизнес. И вот эта лошадь связана, закована цепью и заперта в конский фургон за пятнадцать миль от родной конюшни, а он, Чарльз, спрашивает у мистера Маккалема:

– Значит, вы наконец ее продали?

– Надеюсь, – отвечает мистер Маккалем. – Впрочем, пока за лошадью не закроется дверь конюшни, она еще не продана.

– Но, по крайней мере, дело к тому идет.

– По крайней мере, идет.

Что, впрочем, не имело большого значения, скорее, не имело вообще никакого значения, разве что мистеру Маккалему придется с пеной у рта доказывать, что он ее даже и не продал. Сделка наверняка состоится во тьме, и притом в полной тьме, – ведь уже четыре часа, а тот, кто вознамерился

купить эту лошадь, должно быть, живет где-то очень далеко, если он о ней ничего не слышал.

Потом он подумал: тот, кто купил эту лошадь, скорей всего живет слишком далеко для того, чтобы туда можно было добраться засветло даже двадцать второго июня, не говоря о пятом декабря, и потому, наверное, неважно, в котором часу мистер Маккалем выедет, и он пошел в дядину комнату, и тем дело кончилось, если не считать постскриптума, а тот не заставил себя долго ждать; на столе лежало краткое изложение юридического казуса и справочники, приготовленные для него дядей, он принялся за работу, и ему показалось, что когда стало смеркаться и он зажег настольную лампу, тотчас же зазвонил телефон. Едва он поднял трубку, как услышал девичий голос, который уже говорил, говорил без умолку, так что прошло секунды две, прежде чем он этот голос узнал:

– Алло! Алло! Мистер Стивенс! Он был здесь! Никто даже понятия не имел! Он только что уехал! Мне позвонили из гаража, я ринулась туда, а он уже сидит в машине с заведенным мотором и говорит, если вы хотите его видеть, стойте у себя на углу через пять минут, говорит, что не сможет зайти к вам в контору, и потому будьте на углу через пять минут, если вы хотите его видеть, а если нет, можете позвонить ему и условиться о встрече в гостинице Гринбери завтра... – голос все еще говорил, и тут вошел дядя и взял трубку и секунду послушал, а голос, наверное, продолжал говорить даже после того, как дядя повесил трубку.

– Через пять минут? – сказал дядя. – Шесть миль?

– Ты никогда не видел, как он ездит, – сказал он. – Он наверняка уже пересекает Площадь.

Однако это было бы, пожалуй, слишком быстро даже для Гаррисса. Они с дядей вышли на улицу и в холодных сумерках минут десять простояли на углу, и тут его осенило, что это продолжение той неразберихи и сумятицы, в самом средоточии или, во всяком случае, на краю которой они со вчерашнего вечера пребывают, и теперь им остается лишь одно – ждать и стараться не упустить того, о чьем появлении их только что предупредили.

В конце концов они его увидели. Сначала они услышали шум мотора и сирену – молодой Гаррисс нажал ладонью на кнопку звукового сигнала, а может, просто сунул руку под панель приборов или под капот, оторвал и замкнул провод, идущий на массу, и если он в ту минуту вообще о чем-нибудь подумал, то наверняка пожалел, что у него не включается глушитель, как было на старых машинах. А он, Чарльз, подумал, что ночной полицейский Хэмптон Килигру, наверное, выбегает из бильярдной, или из харчевни «Всю-то-ночку-напролет», или еще откуда-нибудь, где он в ту минуту находился, и тоже слишком поздно, потому что автомобиль с воем и ревом мчится по улице в сторону Площади, у него включено все освещение – дальний свет, противотуманные фары и стоп-сигнал, – проносится между кирпичными стенами домов там, где улица у выхода на Площадь сужается; и

лишь потом он, Чарльз, вспомнил, как в пронесшихся мимо полосах света мелькнул силуэт подпрыгнувшей кошки, который в первую секунду показался ему очень длинным – с добрый десяток футов, а во вторую – высоким и узким, как убегающая жердь забора.

Однако к счастью, на перекрестке, кроме них с дядей, никого больше не было, и Гаррисс сразу их увидел и направил свет на них, словно собираясь въехать прямо на тротуар. В последний момент они успели отскочить, и он, Чарльз, мог бы дотронуться рукою до лица и блестящих зубов Гаррисса, но автомобиль пронесся мимо, вырвался на Площадь, пересек ее, вышел из заноса, со скрипом трокатился по мостовой и выскочил на Мемфисское шоссе. Вой сирены, визг шин и рокот мотора становились все тише и тише, так что под конец они с дядей услышали, как Хэмптон Ки-лиггу, крича и ругаясь, бежал к перекрестку.

– Ты дверь закрыл? – спросил дядя.

– Да, сэр, – ответил он.

– В таком случае пошли домой ужинать, – сказал дядя. –

По дороге можешь зайти на телеграф.

Он зашел на телеграф и отправил мистеру Марки телеграмму – слово в слово как велел дядя: *«Он сейчас Гринбери случае необходимости используйте полицию просьбе начальника джефферсонского управления»*, после чего вышел и догнал дядю на следующем углу.

– Зачем теперь полиция? – спросил он. – По-моему, ты

говорил...

– Чтоб эскортировать его через Мемфис туда, куда он едет. В любую сторону, за исключением той, что ведет сюда.

– Но зачем ему куда-то ехать? – спросил он. – Ты же вчера говорил, что меньше всего он хочет скрыться, меньше всего он хочет находиться там, где никто не сможет его увидеть, пока...

– Значит, я ошибся, – сказал дядя. – Я его оклеветал. Я, очевидно, приписал девятнадцатилетним большую сообразительность, нежели та, на какую они способны. Пошли. Ты опаздываешь. Тебе надо не только поужинать, но и вернуться в город.

– В контору? – спросил он. – К телефону? Неужели они не могут позвонить тебе домой? К тому же, раз он вообще не собирается остановиться в Мемфисе, о чем они могут сообщить тебе по телефону?

– Нет, – сказал дядя. – В кино. И пока ты еще не успел спросить, скажу тебе сразу, зачем – это единственное место, где ни человек девятнадцати лет или двадцати одного года от роду по имени Гаррисс, ни человек, которому вот-вот стукнет восемнадцать, по имени Мэллисон, не сможет со мной разговаривать. Я намерен поработать. Я проведу вечер в обществе негодяев и злодеев, которые не только не боятся творить свое черное дело, но и умеют его творить.

Ему было известно, что это значит: Перевод. Поэтому он даже не зашел в дядину гостиную. А так как дядя после ужи-

на первом встал из-за стола, он его больше не видел.

Если бы он, Чарльз, не пошел в кино, он бы вообще не увидел дядю в тот вечер; он неторопливо поужинал, потому что времени у него было много, и столь же неторопливо, потому что времени все еще было много, двинулся сквозь холодную свежую мглу по направлению к Площади и к кинотеатру; он не знал, что там показывают, и даже особенно не интересовался; может, он идет на очередной фильм про войну, но и это не имело значения; он думал, вспоминал, что раньше для духовной жажды не было и не могло быть ничего хуже фильма про войну, а теперь это совсем не так – ведь между фильмом про войну и уроками мисс Хогганбек пролегло расстояние, в тысячу раз непреодолимее, чем то, что отделяет «Международные Дела» мисс Хогганбек от сабли и звездочек Службы подготовки офицеров резерва; он думал, что, если бы род человеческий мог все время смотреть кино, не было бы ни войн, ни других созданных человеком бедствий, но человек не может столько времени смотреть кино, ибо скука – единственная человеческая страсть, которую фильмам не одолеть, и человеку придется смотреть их всего лишь восемь часов в сутки, потому что другие восемь он должен спать, а по словам дяди, единственное, что человек может выдержать восемь часов подряд, кроме сна, – это работа.

Вот он и отправился в кино. А если б он не отправился в кино, он не прошел бы мимо харчевни «Всю-то-ночку-на-

пролет» и у тротуара перед нею не увидел бы и не узнал пустой конский фургон, пустые цепи и оковы, продернутые сквозь щели в дощатых бортах, а повернув голову к окну, не разглядел бы у стойки и самого мистера Маккалема, который что-то ел, прислонив к стойке тяжелую дубовую палку, которая неизменно была при нем, когда ему приходилось иметь дело с незнакомыми лошадьми и мулами. И если б у него не оставалось еще четырнадцать минут до того часа, когда обычно (кроме суббот и тех дней, когда бывали вечеринки) ему полагалось возвращаться домой, он бы не вошел в харчевню и не спросил у мистера Маккалема, кто купил ту лошадь.

Луна уже взошла. Когда освещенная Площадь осталась позади, он получил возможность наблюдать, как обрубленные тени его ног обрубают тени безлистных ветвей, а потом и тени кольев забора, но это длилось недолго – подойдя к углу двора, он перелез через забор, сократив расстояние от туда до ворот. И теперь в окне дядиной гостиной он смог увидеть отсвет из-под абажура настольной лампы, и не шагом, не торопливо, а скорее увлекаемый изначальной волной удивления, изумления и (непонятно почему) лихорадочной спешки, тогда как инстинкт побуждал его остановиться, избежать, уклониться, сделать все что угодно, лишь бы не нарушить этот запрет, этот час, этот ритуал Перевода (слово это вся семья произносила как бы с заглавной буквы «П») – переложения Ветхого завета обратно на классический древ-

негреческий язык, на который он был некогда переведен со своей утраченной младенческой древнееврейской версии, – Перевода, которым дядя занимался уже двадцать лет, на два с лишним года дольше, чем он, Чарльз, прожил на свете; для этого дядя удалялся в гостиную регулярно раз в неделю (а порой раза два или три, если он бывал чем-то недоволен или возмущен) и закрывал за собой дверь, и никто – мужчина ли, женщина, ребенок, клиент, доброжелатель или друг, – никто не смел коснуться даже ручки этой двери, пока дядя не поворачивал ее изнутри.

И он, Чарльз, подумал, что, будь ему восемь лет, а не без малого восемнадцать, он бы не обратил внимания даже на эту настольную лампу и на эту закрытую дверь, а будь ему не восемнадцать, а двадцать четыре, то лишь из-за того, что другой девятнадцатилетний юноша купил лошадь, его бы здесь не было вовсе. Потом он подумал, что, может, как раз наоборот – в двадцать четыре года он мчался бы во весь опор, а в восемь не пришел бы вообще – ведь в восемнадцать лет он мог только выказать торопливость, изумление, спешку, ибо, вопреки или, напротив, согласно мнению дяди, он с точки зрения своих восемнадцати лет никоим образом не мог себе представить, как девятнадцатилетний Макс Гаррисс надеется перехитрить или наказать кого-то при помощи этой лошади.

Да и зачем? Ведь об этом позаботится дядя. Все, что требовалось от него, – это спешка, скорость. Вот он к ним и при-

бег – начиная с первого шага, он всю дорогу бежал быстрой и ровной рысью; выскочив из дверей харчевни, он завернул за угол, добрался до двора, пересек двор, взбежал по ступенькам в прихожую, подбежал к закрытой двери, схватился за ручку, открыл дверь и очутился в гостиной, где дядя, без пиджака, с зеленым козырьком на лбу, сидел за письменным столом под лампой; он даже не поднял глаз от стоявшей перед ним на подставке раскрытой Библии; рядом лежал греческий словарь; возле дядиного локтя покоилась кукурузная трубка, а на полу у дядиных ног валялась добрая половина стопы двойных листов желтоватой писчей бумаги.

– Он привез эту лошадь, – сказал он, Чарльз. – Зачем ему эта лошадь?

Но дядя и тут не поднял глаз и не шевельнулся.

– Надеюсь, для верховой езды, – сказал дядя. Потом дядя поднял глаза и потянулся за трубкой. – Я полагал, что всем известно...

Дядя вдруг замолчал; трубка, чубук которой он повернул было ко рту, повисла в воздухе, а рука, едва успев поднять ее со стола, неподвижно застыла. Он, Чарльз, уже и раньше это наблюдал, и на секунду ему показалось, будто теперь наступило мгновение, когда дядины глаза его уже не видят, а где-то на заднем плане с шумом и треском формируется бойкая, короткая фраза – порой она состояла даже меньше чем из двух слов, – фраза, которая словно ветром сдует его из комнаты обратно в прихожую.

– Ладно, – сказал дядя. – Какая лошадь? Он отозвался, тоже кратко:

– Лошадь Маккалема. Тот жеребец.

– Ладно, – повторил дядя.

На этот раз он, Чарльз, все сразу понял, и никакой расшифровки ему не потребовалось.

– Я только что видел Маккалема в харчевне, он там ужинает. Он отвез жеребца туда сегодня днем. Я видел грузовик в переулке, когда шел домой обедать, но я не...

Дядя совсем его не видел, дядины глаза были так же пусты, как глаза девицы Гаррисс, когда накануне вечером она в первый раз переступила порог этой комнаты. Потом дядя что-то сказал. На греческом, древнегреческом языке – ведь дядя был погружен в те стародавние времена, когда Ветхий завет был впервые переведен, а может даже и написан. Дядя иногда поступал так: говорил ему по-английски что-нибудь, чего не надо было слышать его, Чарльзовой, матери, а потом повторял то же самое по-древнегречески, и хотя он, Чарльз, не знал древнегреческого, слова эти звучали гораздо убедительнее и гораздо точнее выражали смысл того, что дядя хотел сказать. И это была одна из таких фраз, и она тоже не напоминала ничего, что можно извлечь из Библии, во всяком случае, с тех пор, как за нее взялись пуритане-англосаксы. Дядя уже встал из-за стола, сорвал козырек, отшвырнул его в сторону, оттолкнул назад кресло и схватил с другого кресла пиджак и жилет.

– Пальто и шляпу, – сказал дядя. – На кровати. Бегом.

И он ринулся бегом. Они выскочили из комнаты, промчались по прихожей – дядя впереди, в жилете и пиджаке с развевающимися фалдами, а он, Чарльз, следом, пытаясь засунуть дядины руки в рукава его пальто.

Потом они пронеслись по освещенному луной двору (он все еще держал в руке дядину шляпу), вскочили в автомобиль; не прогревая мотор, дядя на подсосе осадил назад, со скоростью тридцать миль в час выехал с подъездной дорожки на улицу, скрипя шинами, с ходу развернулся, все еще не выключая подсос, понесся по улице, срезал угол, заехав на полосу встречного движения, почти с такой же скоростью, с какой прежде мчался Макс Гаррисс, пересек Площадь, резко затормозил перед харчевней рядом с грузовиком мистера Маккалема и выскочил на мостовую.

– Жди здесь, – сказал дядя и вбежал в харчевню, через окно которой он, Чарльз, увидел, что мистер Маккалем все еще сидит за стойкой и пьет кофе, а его палка все еще стоит рядом; но тут подбегает дядя, хватая палку и, даже не остановившись, поворачивает обратно, увлекает за собой из харчевни мистера Маккалема, точь-в-точь как две минуты назад увлек за собой из гостиной его, Чарльза, подбегает к машине, рывком распахивает дверцу, велит ему, Чарльзу, пересесть за руль, швыряет в машину палку, заталкивает на сиденье мистера Маккалема, влезает сам и захлопывает дверцу.

– Жми, – сказал дядя. – Уже без десяти десять. Но богатые

ужинают поздно, так что мы, может, еще успеем.

Вот он и жал. Вскоре они выехали за город, и он пустился во весь опор, хотя дорога была гравийная – построить шоссе длиной в шесть миль до города барон Гаррисс забыл или просто не успел, потому что умер. Но ехали они очень быстро, и дядя, притулившись на краешке сиденья, тянулся вперед и следил за стрелкой спидометра, словно готов был при первом же ее колебании выскочить из машины и ринуться вперед.

– Черта с два «здорово, Гэвин», – сказал дядя мистеру Маккалему. – Вот привлеку я тебя за соучастие, тогда и скажешь «здорово».

– Он знал эту лошадь, – сказал мистер Маккалем. – Приехал ко мне домой и твердил, что хочет ее купить. Еще до восхода солнца он спал в машине у ворот, а из кармана пальто у него торчала пачка денег – не то четыреста, не то пятьсот долларов, – словно кучка листьев. В чем дело? Он заявляет, что он несовершеннолетний?

– Ничего он не заявляет, – сказал дядя. – Он вообще держит свой возраст под секретом от всех – даже от дядюшки Сэма, который призывает его в армию. Но не в том суть. Что ты сделал с лошастью?

– Поставил к конюшню, в стойло, – отвечал мистер Маккалем. – Там все в порядке. Конюшня маленькая, в ней всего одно стойло, и больше ничего в ней нет. Он сказал, чтоб я не беспокоился, там ничего больше и не будет. Когда я прие-

хал, все уже было готово. Но я сам проверил и дверь и забор. Конюшня что надо. Иначе я б эту лошадь там не оставил – сколько б он мне за нее ни посулил.

– Знаю, – сказал дядя. – Это которая конюшня?

– Та, что на отшибе, он ее прошлым летом построил за деревьями, подальше от других конюшен и загонов. При ней свой загон, и внутри всего одно большое стойло, да еще чулан для упряжи; я и в него заглянул – там только седло, узда, попоны, скребница, щетка и немного корма. И он сказал, что каждый, кто возьмет седло, узду или корм, будет заранее знать про эту лошадь, а я ему говорю: да, пусть непременно знают – тот, кто придет на этот участок и откроет дверь в конюшню, воображая, что найдет там обыкновенную лошадь, сильно навредит не только себе, но и ее владельцу. А он говорит, вы-то тут уж никак ни при чем, потому что вы всего лишь ее продали. Но конюшня в полном порядке. Там даже есть наружное окно, чтоб человек мог залезать на чердак и сбрасывать корм оттуда, пока лошадь к нему не привыкла.

– А когда она привыкнет? – спросил дядя.

– Я знаю, как ее приучить, – отозвался мистер Маккалем.

– Значит, через минуту-другую мы сможем на тебя посмотреть, – сказал дядя.

Они уже почти добрались до места. Может, и не с такой скоростью, как Макс Гаррисс, они все же быстро проехали между белыми заборами, которые в лунном свете казались не многим солиднее полосок глазури на торте и за которы-

ми простирались залитые лунным светом обширные пастбища, – дядя наверняка помнил, что на них прежде рос хлопчатник, во всяком случае, наверняка стал бы уверять, будто помнит, – а старый хозяин сидел в самодельном кресле на веранде, временами окидывал взором эти поля, после чего вновь обращался к своей книге и к своему пуншу.

Потом они повернули и въехали в ворота; теперь оба – и дядя и мистер Маккалем – сидели на краешке сиденья, а потом все трое помчались по подъездной дорожке между подстриженными и причесанными газонами, деревьями и кустами, аккуратными, словно ухоженный хлопок, и бежали, пока перед ними не возникло то, что некогда было домом старого хозяина – расплзшаяся не меньше чем на пол-акра громада колонн, флигелей и балконов.

Они поспели вовремя. Капитан Гуальдрес, вероятно, вышел из боковой двери как раз в ту минуту, когда фары их автомобиля осветили подъездную дорожку. Во всяком случае, они увидели, что он уже стоит в лунном свете, а когда они втроем вышли из машины и подбежали к нему, он все еще стоял там с непокрытой головой, в короткой кожаной куртке и в сапогах, а на руке его болтался тонкий хлыстик.

Разговор начался по-испански. Три года назад он, Чарльз, записался в школе на факультативный курс испанского языка и сам позабыл, да в сущности так и не понял, как и почему он за это дело взялся, точь-в-точь как прежде это сделал дядя, и в результате ему, Чарльзу, пришлось изучать ис-

панский, к чему он вовсе не стремился. Никто его не убеждал и не уговаривал, да и дядя говорил, что никого не надо уговаривать сделать то, что ему хочется или нужно, и совсем неважно, знал ли он тогда, что это ему нужно или со временем понадобится, или не знал. Возможно, его ошибка заключалась в том, что он имел дело с юристом; во всяком случае, он все еще изучал испанский, прочел «Дон Кихота», мог читать большую часть мексиканских и южно-американских газет и даже начал «Сид»⁵, но только это было в прошлом году, а прошлый год был 1940 годом, и дядя сказал:

– Почему? «Сид» будет легче «Дон Кихота», потому что он про героев.

Но он не смог бы объяснить никому, тем более человеку пятидесяти лет, и даже собственному дяде, как трудно утолить духовную жажду запыленной хроникой прошлого, когда всего в полутора тысячах миль, в Англии, мужчины не многим старше его самого ежедневно пишут своей кровью бессмертный комментарий к его эпохе.

Поэтому он понимал почти все, что они говорили, и только иногда испанская речь становилась для него слишком быстрой. Но ведь и для капитана Гуальдреса английская речь тоже иногда становилась слишком быстрой, и один раз ему даже показалось, что они оба – и он и капитан Гуальдрес – не успевают за испанской речью дяди.

– Вы идете кататься верхом, – сказал дядя. – При луне.

⁵ «Песнь о моем Сиде» – испанская эпическая поэма XII в. (прим, перев.).

– Но разумеется, – сказал капитан Гуальдрес, все еще вежливо, все еще лишь слегка удивленно, лишь слегка приподняв свои черные брови, – так вежливо, что голос его вовсе не выдавал удивления, и даже в тоне его голоса совсем не слышался вопрос (в той форме, в какой мог бы задать его испанец): «Ну и что?»

– Я – Стивенс, – проговорил дядя все так же быстро, а это, как он, Чарльз, понял, было для капитана Гуальдреса гораздо хуже, чем просто быстро, – ведь для испанца быстрота и резкость, наверно, самый тяжкий грех, но в том-то и беда, что теперь совсем не оставалось времени, у дяди не было времени что-нибудь сделать, и он мог только говорить. – Это – мистер Маккалем. А это – сын моей сестры Чарльз Мэллисон.

– Мистер Маккалем я знаю хорошо, – сказал по-английски капитан Гуальдрес; он повернулся, и перед ними блеснули его зубы. – У него есть один великий лошадь. Печально. – Он пожал руку мистеру Маккалему, неожиданно, быстро и крепко. Но даже и при этом он казался бронзовым изваянием, хоть на нем была мягкая поношенная, блестящая в лунном свете кожаная куртка, а волосы были намазаны бриллиантином, словно весь он – волосы, сапоги, куртка и все прочее – был отлит из металла, причем из одного цельного куска. – Молодой человек – не так хорошо. – Он и ему, Чарльзу, пожал руку – тоже быстро, коротко и крепко. Потом он отступил назад и на этот раз руки не протянул. – И мистер Стивенс не так хорошо. Тоже печально, быть может.

И в тоне его голоса опять не прозвучало: «*Вы теперь можете принести свои извинения*». В нем даже не прозвучало: «*Что вам угодно, господа?*» И лишь сам голос, в высшей степени учтиво, в высшей степени холодно, без всякого нажима, произнес:

– Вы приехали кататься верхом? Сейчас нет лошадь здесь, но на маленький сатро ⁶ много. Мы идем поймать.

– Подождите, – сказал дядя. – Мистер Маккалем и так каждый день видит столько лошадиных задниц, что ему навряд ли сегодня вечером захочется покататься верхом, а сын моей сестры и я видим их слишком мало и тоже не хотим кататься. Мы приехали сделать вам одолжение.

– О... – сказал капитан Гуальдрес, тоже по-испански. – И это одолжение?

– Ладно, – сказал дядя, все еще быстро, стремительной скороговоркой родного языка капитана Гуальдреса, звучного, не очень музыкального, как звон частично отожденного металла: – Мы очень торопились. Быть может, я приехал так быстро, что мои хорошие манеры не могли за мной угнаться.

– Такая вежливость, которую человек может перегнать, – сказал капитан Гуальдрес, – принадлежала ли она ему когда-нибудь? – И добавил почтительно: – Какое одолжение?

И он, Чарльз, тоже подумал: «*Какое одолжение?*» Капитан Гуальдрес не шевельнулся. В его голове ни разу не прозвучало ни тени недоверия или сомнения, а теперь в нем не было

⁶ Поле (*исп.*).

даже удивления. И он, Чарльз, готов был с ним согласиться: ведь с ним может произойти все что угодно, от чего дяде или кому-нибудь другому придется его предостеречь или спасти; и ему, Чарльзу, представилось, как не одна только лошадь мистера Маккалема, а целый табун ей подобных топчут его копытами, валяют в пыли и в грязи, а может, даже кусают или мнут ему бока – но не более того.

– Пари, – сказал дядя.

Капитан Гуальдрес не шевельнулся.

– В таком случае просьба, – сказал дядя.

Капитан Гуальдрес не шевельнулся.

– В таком случае одолжение мне, – сказал дядя.

– О, – сказал капитан Гуальдрес. Но он даже и тут не шевельнулся; он произнес одно-единственное слово, не по-испански и не по-английски, ибо оно звучало одинаково на всех языках, о каких он, Чарльз, когда-либо слышал.

– Вы едете верхом сегодня вечером, – сказал дядя.

– Истинно, – сказал капитан Гуальдрес.

– Позвольте пойти с вами в конюшню, где вы держите вашу ночную верховую лошадь, – сказал дядя.

Капитан Гуальдрес сделал движение, хотя всего лишь глазами, и он – Чарльз – и мистер Маккалем увидели, как сверкнули белки капитана Гуальдреса, когда тот взглянул на него, потом на мистера Маккалема, потом опять на дядю, а потом он больше не шевелился, совсем не шевелился, казалось, даже перестал дышать, и это длилось так долго, что он, Чарльз,

успел бы, наверно, сосчитать до шестидесяти. Потом капитан Гуальдрес все-таки сделал какое-то движение и повернулся.

– Истинно, – сказал он и зашагал вперед, и они трое вслед за ним обогнули дом, который был слишком велик; прошли по лужайке, где росло слишком много кустов и деревьев; миновали гаражи, способные вместить больше автомобилей, чем могли за всю свою жизнь использовать четыре человека; оранжереи и теплицы, где произрастало больше винограда и цветов, чем могли за всю свою жизнь эти же четыре человека съесть или понюхать; пересекли из конца в конец все это притихшее в лунном свете, выбеленное в лунном свете, примолкшее в лунном свете огромное поместье вслед за капитаном Гуальдресом, – он шагал на крепких кривых ногах, обутых в начищенные сапоги, которые блестели, как поршни духовых инструментов; за ним шел дядя, за ним он, Чарльз, за ним мистер Маккалем со своей дубовой палкой, – все трое гуськом за капитаном Гуальдресом, словно трое гаучо, принадлежащих к его семейству (если у капитана Гуальдреса было семейство).

Путь их, однако, лежал не к большим конюшням с электрическими часами и лампами, с позолоченными фонтанчиками для питья и кормушками, и даже не к проулку, который к ним вел. Они пересекли этот проулок, перелезли через белую изгородь, прошли по освещенному луною пастбищу, направились к небольшому перелеску, обогнули его, а за

ним было то, к чему они направлялись, и ему даже почудилось, будто он слышит рассказ мистера Маккалема про этот маленький загон, обнесенный своей отдельной белой изгородью, и про одну-единственную конюшню величиной с гараж на две машины – все совершенно новое, построенное только в нынешнем сентябре, аккуратное, свежескрашенное, на ослепительно белом фоне зияет черный квадрат открытой верхней половины единственной двери в конюшню, и вдруг за спиной у него, Чарльза, мистер Маккалем издает какое-то подобие звука.

И с этой минуты события начали развиваться так стремительно, что он, Чарльз, не мог за ними уследить. Капитан Гуальдрес теперь принял свое испанское обличье; повернувшись спиной к изгороди, крепкий, подтянутый, он каким-то образом ухитрился выглядеть выше ростом, и, стоя лицом к лицу, они с дядей заговорили на родном языке капитана Гуальдреса такой немислимой скороговоркой – ни дать ни взять два плотника, швыряющие друг в друга горстями мелких гвоздей. Правда, дядя начал было по-английски, и капитан Гуальдрес сперва отвечал ему тем же – дядя, наверное, считал, что мистер Маккалем вправе узнать хоть малую толику:

– Итак, мистер Стивенс. Вы объясняете?

– Если вам угодно, – отвечал дядя.

– Истинно, – сказал капитан Гуальдрес.

– Здесь вы держите свою ночную лошадь, ту, которая сле-

пая.

– Да, – подтвердил капитан Гуальдрес. – Нет другой лошади здесь, только маленькая кобыла. Для ночь. Negrito ⁷ ставит ее в конюшню каждый вечер.

– И после обеда или ужина или в полночь, когда достаточно стемнеет, вы приходите сюда, входите в этот загон, подходите к этой двери и открываете ее – в темноте, как сейчас.

Вначале он, Чарльз, подумал, что их здесь слишком много – один, во всяком случае, лишний. Теперь он понял: наоборот, не хватает одного – парикмахера, – потому что капитан Гуальдрес сказал:

– Прежде я ставлю барьеры.

– Барьеры? – спросил дядя.

– Маленькая кобыла не видит. Скоро она будет не видеть навсегда. Но она еще может прыгать, ей помогает не зрение, но осязание и слух. Я ее учу – как это сказать? – вере.

– Я думаю, слово, которое вам нужно, это неуязвимость, – сказал дядя.

Потом они заговорили по-испански, очень быстро, и если бы оба не стояли неподвижно, это напоминало бы схватку боксеров. Он, наверное, мог бы уследить за Сервантесом, во всяком случае, в письменной форме, но то, что бакалавр Самсон и предводитель янгуасцев прямо у него под носом торгуются из-за лошади, дошло до него, лишь когда уже все кончилось (так он, по крайней мере, думал), и дядя объяс-

⁷ Негр (исп.).

нил ему, в чем было дело, – вернее, объяснил настолько, насколько он, Чарльз, вообще мог ожидать.

– И что тогда? – спросил он. – Что ты сказал ему тогда?

– Не много, – отвечал дядя. – Я только сказал: «Это одолжение». А Гуальдрес сказал: «За которое натурально я заранее вас благодарю». А я ему сказал: «Но в которое вы натурально не верите. Но цену которого вы натурально желаете узнать». И мы условились о цене, и я сделал это одолжение, и на том дело кончилось.

– Какова же была цена? – спросил он.

– Это было пари, – ответил дядя. – И мы побились об заклад.

– На что? – спросил он.

– На его судьбу, – сказал дядя. – Он сам назвал ставку. Ибо единственное, во что такой человек верит, это в свой рок. В судьбу он не верит. Он ее даже не приемлет.

– Ну хорошо, – сказал он. – Вы заключили пари. А ты на что спорил?

На это дядя даже не стал отвечать, он просто смотрел на него язвительным, капризным, загадочным, но все же знакомым взглядом, хотя он, Чарльз, только сейчас обнаружил, что совсем не знает своего дядю. Потом дядя сказал:

– Конь неожиданно является ниоткуда – допустим, с запада – и одним и тем же ходом дает шах и королеве и ладье. Что надо делать?

Теперь он по крайней мере знал ответ.

– Спасать королеву и уступить ладью. – И на второе замечание он тоже отозвался: – Из западной Аргентины. – И добавил: – Речь шла о той девице. О девице Гаррисс. Ты заключил с ним пари на эту девицу. Чтобы он не входил в этот загон и не открывал дверь этой конюшни. И он проиграл.

– Проиграл? – спросил дядя. – Вместо того чтобы лишиться части своего склета, а может даже и мозгов, он получил принцессу и половину замка. По-твоему, он проиграл?

– Он проиграл королеву, – возразил он.

– Королеву? – сказал дядя. – Какую королеву? А, ты имеешь в виду миссис Гаррисс. Может, он понял, что королеву передвинули в ту самую минуту, когда он понял, что ему придется объявить свою ставку. Может, он понял, что потерял и королеву, и замок еще в ту минуту, когда разоружил шваброй принца. Если королева вообще была ему нужна.

– В таком случае, что он тут делал? – спросил он.

– То есть, чего он ждал? – сказал дядя.

– Может, ему нравилась эта клетка. Тем, что с нее он мог продвинуться одним ходом не только на две клетки, но и в двух направлениях, – сказал он, Чарльз.

– Как бы там ни было, лучше бы он так и сделал, – сказал дядя. – Его угроза и его обаяние заключаются в его способности к передвижению. На сей раз он забыл, что в этом еще и залог его безопасности.

Но все это будет завтра. А сейчас он, Чарльз, даже не мог уследить за тем, что происходило у него перед глазами. Они

с мистером Маккалемом просто стояли, смотрели и слушали, как дядя и капитан Гуальдрес, стоя лицом к лицу, осыпают друг друга звонкими дребезжащими слогами, а потом капитан Гуальдрес сделал какое-то движение – не то пожал плечами, не то поклонился, – а дядя, обернувшись к мистеру Маккалему, сказал:

– Ну как, Рейф? Хочешь пойти туда и открыть дверь?

– Пожалуй, – отозвался мистер Маккалем. – Да только я не пойму...

– Я побился об заклад с капитаном Гуальдресом, – сказал дядя. – Если ты не хочешь, придется мне.

– Подождите, – сказал капитан Гуальдрес. – Я думаю, я должен...

– Вы сами подождите, мистер капитан, – сказал мистер Маккалем. Он переложил свою толстую палку из одной руки в другую, с полминуты постоял, глядя вверх белой изгороди на пустой, залитый лунным светом, огороженный участок, на глухую белую стену конюшни и один-единственный черный квадрат над половинкой двери. Потом еще раз переложил палку из одной руки в другую, залез на изгородь, перекинул через нее ногу, обернулся и посмотрел вниз на капитана Гуальдреса. – Теперь-то я понял, в чем тут дело, – сказал он. – И вы тоже сейчас поймете.

Потом они смотрели, как он все еще неторопливо перелезает через изгородь, спускается на участок – плотно сбитый, легкий на ногу, уравновешенный человек, окруженный

таким же ореолом, как капитан Гу-альдрес, и так же, как он, чем-то неуловимо напоминающий лошадь, – и, залитый лунным светом, ровным шагом идет к гладкой белой стене, в центре которой зияет единственный черный квадрат пустоты, полного и абсолютного безмолвия, подходит к конюшне, поднимает тяжелую железную щеколду, открывает запертую нижнюю половинку двери и лишь после этого немислимо быстрым движением так сильно толкает вперед половинку двери, что она поворачивается на петлях, потом тянет ее на себя, вместе с нею отскакивает обратно и останавливается между дверью и стеной; вцепившись другой рукой в свою тяжелую палку, он успевает спрятаться за дверью буквально за секунду до того, как жеребец, такой же чернильно-черный, как крошечная тьма внутри конюшни, с грохотом вырывается на лунный свет, словно он был привязан к двери шнурком не длиннее цепочки от часов.

Он выскочил наружу с ревом. Казалось, он даже оторвался от земли и всей своей огромной разъяренной глыбой несется к луне, словно языками черного пламени объятый взметнувшимся в небо хвостом и развевающейся гривой; казалось, это даже не смерть – ибо смерть это неподвижность, оцепенение, – а исчадие ада, на века обреченный погибели бешеный зверь; устремившись к лунному свету, он с диким ревом скакал галопом по кругу, мотал головой в поисках человека, и только увидев мистера Маккалема, замолк и ринулся к нему, однако узнал его лишь тогда, когда тот отошел от сте-

ны и его окрикнул.

Тогда жеребец остановился, припал на передние ноги, привалился на них туловищем и стоял, пока мистер Маккалем опять с той же невыносимой быстротою подбежал к нему, размахнулся и изо всех сил огрел его палкой по морде, после чего тот снова взревел, завертелся, закружился, с ходу перешел на галоп, а мистер Маккалем повернулся и пошел к изгороди. Он не бежал, он шел шагом, и хотя, прежде чем он добрался до изгороди и перелез через нее, жеребец успел описать вокруг него два полных круга галопом, но больше ни разу на него не бросился.

А капитан Гуальдрес все это время стоял неподвижно; твердый как сталь, непоколебимый, он даже не побледнел. Потом капитан Гуальдрес обратился к дяде, и хотя они опять говорили по-испански, он, Чарльз, на этот раз все понял.

– Я проиграл, – сказал капитан Гуальдрес.

– Не проиграли, – сказал дядя.

– Истинно, – сказал капитан Гуальдрес. – Не проиграл. –

Потом капитан Гуальдрес добавил: – Спасибо.

IV

Потом наступила суббота; весь этот свободный от школы, ничем не оправданный день, когда нужно сидеть в конторе, приводить все в порядок, разбираться во всех тех мелочах, которые еще оставались, – так он, по крайней мере, думал, ибо даже под конец этого декабрьского дня еще не вполне осознал свою способность удивляться, приходить в изумление.

Он в сущности даже не верил, что Макс Гаррисс вернется из Мемфиса. Мистер Марки, находясь в Мемфисе, явно тоже в это не верил.

– Полиция города Мемфиса не может препроводить арестованного обратно в штат Миссисипи, – сказал мистер Марки. – Вы это знаете. Вашему шерифу придется кого-нибудь послать...

– Он не арестован, – сказал дядя. – Скажите ему это. Скажите, что я просто прошу его вернуться сюда и поговорить со мной.

С полминуты в телефонной трубке не было слышно ничего, кроме слабого жужжания той далекой силы, которая держит провода под напряжением и стоит кому-то денег независимо от того, передаются по ним голоса или нет. Потом мистер Марки сказал:

– Вы в самом деле надеетесь опять его увидеть, если я передам ему это сообщение и скажу, что он может ехать?

– Передайте ему мои слова и скажите, что я прошу его вернуться сюда и поговорить со мной, – повторил дядя.

И Макс Гаррисс вернулся. Он приехал как раз перед двумя остальными, и пока они поднимались по лестнице, как раз успел пройти в контору через приемную; он, Чарльз, закрыл дверь в приемную, а Макс остановился перед дверью и посмотрел на дядю – юный, стройный и все еще с иголки одетый, слегка утомленный и как бы не в своей тарелке, словно этой ночью не выспался, и только в глазах его не было ни молодости, ни утомления. Глаза эти смотрели на дядю точно так же, как позавчера вечером, и совершенно ясно свидетельствовали, что с ним далеко не все в порядке. Однако что бы они ни выражали, подобострастия в них не было.

– Садитесь, – сказал дядя.

– Спасибо, – отозвался Макс, незамедлительно и резко, однако без всякого презрения, просто решительно и незамедлительно отверг это предложение. В следующую секунду он тронулся с места, подошел к письменному столу и стал с преувеличенной язвительностью оглядывать контору.

– Я ищу Хемпа Килигру, – сказал он. – А может, у вас тут сам шериф? Куда вы его упрятали? В бак для охлаждения воды? Если вы затолкали туда одного из них, он, наверно, уже помер от страха.

Но дядя все еще молчал, и тогда он, Чарльз, тоже на него

глянул. На Макса дядя даже не смотрел. Он даже повернул вращающееся кресло в сторону и смотрел в окно, сидя совершенно неподвижно и лишь еле заметно поглаживая большим пальцем чашечку остывшей трубки, которую держал в руке.

Потом Макс тоже умолк и стоял, глядя сверху вниз на дядин профиль холодным мрачным взглядом, не выразившим ни покоя, ни вообще ничего такого, что должно выражаться во взгляде молодых глаз.

– Ладно, – сказал Макс. – Вы не смогли доказать ни намерения, ни умысла. Все, что вы можете доказать, доказывать вовсе незачем. Я все заранее признаю. И подтверждаю. Я купил лошадь и поставил ее в отдельную конюшню на участке земли, принадлежащей моей матери. Я, видите ли, тоже немножко разбираюсь в законах. Я, кажется, усвоил как раз то незначительное количество второстепенных сведений, какие требуются первоклассному адвокату в захолустном городишке штата Миссисипи. А может, даже члену законодательного собрания штата, хотя, по-моему, даже чуть больше, чем нужно, чтобы меня избрали в губернаторы.

Дядя по-прежнему сидел не шевелясь, если не считать движений его большого пальца.

– На вашем месте я бы сел, – сказал дядя.

– На моем месте вы бы еще и не то сейчас сделали, – сказал Макс. – Ну так что?

Теперь дядя зашевелился. Опершись коленом о стол, он

повернул кресло так, чтобы посмотреть Максу прямо в лицо.

– Мне вовсе не надо ничего доказывать, – сказал дядя. – Вы ведь не собираетесь ничего отрицать.

– Не собираюсь, – мгновенно отозвался Макс. Он произнес это с презрением, но без всякой злобы. – Я ничего не отрицаю. Ну, что дальше? Где ваш шериф?

Дядя внимательно посмотрел на Макса. Потом сунул в рот мундштук холодной трубки, затянулся, словно в ней горел табак, и заговорил мягко, почти небрежно.

– Я полагаю, что, когда мистер Маккалем привез лошадь и вы поставили ее в принадлежащую капитану Гуальдресу конюшню, вы сказали конюхам и прочим неграм, что капитан купил ее сам и не велел никому трогать. Чему они легко поверили, так как капитан Гуальдрес уже раньше купил лошадь, которую тоже не велел трогать.

Но Макс на это ничего не ответил – точно так же, как позавчера, когда дядя спросил, почему он не зарегистрировался в призывной комиссии. Он ждал, что дядя скажет еще, и на лице его не было даже презрения.

– Ну ладно, – сказал дядя. – Когда капитан Гуальдрес и ваша сестра намерены сочетаться браком?

И тут он, Чарльз, понял, что еще выражали эти мрачные холодные глаза. Они выражали тоску и отчаяние. Он увидел, как в них вспыхнул гнев; гнев горел, пылал и иссушал их, и они уже не выражали ничего, кроме этого гнева и ненависти, и он подумал, что дядя, может, и прав: на свете существуют

страсти более низменные, чем ненависть, а если ты кого-нибудь ненавидишь, то наверняка того, кого тебе не удалось убить, пусть он даже ничего об этом и не знает.

– Я недавно заключил одну сделку, – сказал дядя. – И скоро узнаю, остался я внакладе или нет. А теперь я хочу заключить еще одну сделку – с вами. Вам не девятнадцать лет, а двадцать один, но вы даже еще не зарегистрировались в призывной комиссии. Вступайте в армию.

– В армию? – спросил Гаррисс.

– Да, в армию, – отвечал дядя.

– Понятно, – сказал Гаррисс. – Вступайте, а не то...

И тут Гаррисс разразился смехом. Он стоял перед столом, смотрел сверху вниз на дядю и смеялся. Но глаза его совсем не смеялись, и смех, постепенно сходя с его лица, покинул и глаза, хотя они и не смеялись, и в конце концов они стали такими же, какими были у его сестры позавчера, – в них выражались тоска и отчаяние, но ни ужаса ни страха не было; а дядины щеки тем временем двигались, как бы попыхивая холодной трубкой, словно в ней был дым.

– Нет, – сказал дядя. – Никаких «а не то». Вступайте, и все. Послушайте. Вы играете в покер. Я полагаю, что вы разбираетесь в покере или хотя бы – подобно многим другим – так или иначе в него играете. Вы прикупили карту, показывая этим, что у вас есть к чему прикупать. Если же карта, на которую вы надеялись и рассчитывали, к вам не пришла, вы не станете бросать игру, а будете до последнего цента при-

творяться, что она у вас имеется, причем даже не ради денежного выигрыша, а ради того, чтобы провести остальных игроков, молчаливо следующих той же тактике.

Потом оба застыли в неподвижности, и дядя даже перестал делать вид, будто курит. Потом Гаррисс глубоко вздохнул. В наступившей тишине был ясно слышен вдох и выдох.

– Сейчас? – спросил Гаррисс.

– Да, – отвечал дядя. – Сейчас. Сейчас же возвращайтесь в Мемфис и вступайте.

– Я... – начал Гаррисс. – У меня есть дела...

– Знаю, – сказал дядя. – Но я бы на вашем месте сейчас туда не ездил. После того, как вы вступите в армию, вам разрешат на несколько дней съездить домой и, скажем... привести свои дела в порядок. А сейчас возвращайтесь. Ваша машина внизу? Сейчас же возвращайтесь в Мемфис и вступайте.

– Да, – сказал Гаррисс. Он еще раз глубоко вздохнул. – Спускайтесь с этих ступенек, садитесь в машину и поезжайте. Почему вы думаете, что вы, или армия, или кто-то другой в конце концов меня поймают?

– Я об этом вовсе не думал, – сказал дядя. – Может, вам будет легче, если вы дадите мне слово?

Тем все и кончилось. Гаррисс еще немножко постоял у стола, потом пошел к двери и остановился, слегка наклонив голову. Потом поднял голову, и он, Чарльз, подумал, что Макс готов и на это – пройти через приемную, где сидят те

двое. Но дядя успел его опередить.

– Окно, – сказал дядя, встал с кресла, подошел и открыл окно, выходящее на наружную галерею, откуда лестница вела прямо на улицу. Макс вылез через окно на галерею, дядя закрыл окно, и тем все кончилось: с лестницы донесся шум шагов, но на сей раз не было ни визга шин, ни замирающей вдали сирены, а если на сей раз Хемптон Килигру или еще кто-нибудь с криком погнался за ним, они с дядей и этого не услышали. Потом он подошел к двери в приемную и пригласил капитана Гуальдреса и сестру Макса войти.

Даже в темном двубортном костюме – из тех, какие большинство мужчин носят или во всяком случае имеют, – капитан Гуальдрес по-прежнему казался изваянием из бронзы или иного металла. И в нем по-прежнему было что-то лошадиное. Потом он, Чарльз, сообразил: это оттого, что лошади как раз и недоставало, и тут он впервые заметил, что жена капитана Гуальдреса немного выше капитана Гуальдреса. Словно при отсутствии лошади облик капитана Гуальдреса лишился своей законченности, утратив не только неподвижность, но и часть роста, словно когда он стоял на своих ногах, они вовсе не предназначались для того, чтобы их можно было видеть и сравнивать с другими.

На ней было тоже темное платье, того темно-синего цвета, в каком новобрачные отправляются в свадебное путешествие, и роскошная меховая шуба с бутоньеркой (разумеется, из орхидей. Он, Чарльз, всю жизнь слышал об орхидеях

и поэтому понял, что прежде никогда их не видел. Но он их сразу узнал – на такой шубе и у такой новобрачной ничего другого быть не могло), приколотой к воротнику, а на щеке все еще виднелся тонкий след от ногтя девицы Кейли.

Капитан Гуальдрес сесть не пожелал, и потому они с дядей тоже остались стоять.

– Я приехал говорить до свиданья, – сказал капитан Гуальдрес по-английски. – И получить ваши... как это называется...

– Поздравления, – сказал дядя. – И я тысячу раз желаю вам всего наилучшего. Позвольте мне спросить, как давно?

– Всего... – капитан Гуальдрес быстро взглянул на часы, – ...один час назад. Мы сейчас покидали падре. Наша матушка сейчас возвращалась домой. Мы решаем не ожидать. И так мы приезжаем говорить до свидания. Я говорю это.

– Не до свидания, – сказал дядя.

– Да. Теперь есть... – капитан Гуальдрес снова взглянул на часы, – ...пять минут, и мы уже не здесь. (Дядя не зря говорил, что капитал Гуальдрес отличается одним свойством – он не только точно знает, что он намерен делать, но довольно часто это делает.) Обратно в моя страна. Сатро. Быть может, я должен был не покидать его сначала. Ваша страна... Она великолепна, но слишком много для простого *gaúcho*, *raysano*⁸. Но для сейчас все равно. Для сейчас это есть кончено. И так я прихожу говорить еще до свидания и еще сто

⁸ Крестьянин (*исп.*).

gracias⁹. – Дальше опять пошло по-испански. Но он, Чарльз, все понимал: – Вы знаете испанский. Моя жена получила воспитание только в наилучших монастырях Европы для богатых американских дам и потому не знает языка. В моей стране, в сатро, есть поговорка: женатый – мертвый. Но есть другая поговорка: если хочешь знать, где всадник сегодня ночует, – спроси лошадь. Но и это тоже неважно, это тоже кончено. Поэтому я приехал сказать до свидания и поблагодарить и поздравить себя, что у вас нет приемных детей, которым тоже надо дать средства для жизни. Но я, право, и в том не уверен, потому что нет ничего невозможного для человека с вашими способностями и достоинствами, а также воображением. Итак, мы вовремя возвращается в мою – нашу – страну, где вас нет. Потому что я думаю, что вы очень опасный человек, и я вас не люблю. Итак, с богом.

– С богом, – сказал дядя тоже по-испански. – Я бы не хотел вас торопить.

– Вы не можете, – сказал капитан Гуальдрес. – Вам это даже не нужно. Вам не нужно хотеть, чтобы вы могли.

После этого они тоже удалились – назад через приемную; они с дядей услышали, как хлопнула дверь, потом увидели, что они прошли к лестнице мимо окна, выходявшего на галерею, и тогда дядя вынул из жилетного кармана тяжелые часы с цепочкой, на которой висел золотой ключик, и вверх циферблатом положил их на стол.

⁹ Спасибо (*исп.*).

– Пять минут, – сказал дядя.

Этого времени как раз хватит. Это был как раз подходящий момент, чтобы он, Чарльз, мог спросить, на что дядя заключил пари с капитаном Гуальдресом накануне вечером, да только теперь он понял, что ему и спрашивать не надо. необходимость спрашивать отпала в ту самую минуту, когда в четверг вечером он закрыл парадную дверь за Максом Гарриссом и его сестрой и вернулся в гостиную и убедился, что дядя не собирается ложиться спать.

Поэтому он ничего не сказал, а только смотрел, как дядя кладет часы на стол, встает, слегка разводит руки, опирается ими о стол по обе стороны часов и даже не садится.

– Для приличия. Для выдержки, – сказал дядя; потом, уже двигаясь с места и даже не переводя дыхания, дядя сказал: – Но, может, я уже выказал слишком много и того и другого, – взял часы, положил обратно в карман жилета, прошел через приемную, взял пальто и шляпу и, выходя из наружной двери, даже не бросил через плечо: «Запирай», а просто спустился по лестнице и, когда он, Чарльз, его догнал, уже стоял возле машины, держа ее дверцу открытой.

– Садись за руль, – сказал дядя. – И помни – сейчас не вчерашний вечер.

Итак, он сел за руль, пересек Площадь, где по случаю субботы толпился народ, и даже выехав за город, вынужден был маневрировать среди возвращавшихся домой легковых машин, грузовиков и телег. Но сама дорога все еще позволя-

ла ехать чуть быстрее – гораздо быстрее, – будь он Максом Гарриссом, который уезжал из дома, а не каким-то Чарльзом Мэллисоном, который вез дядю в обратном направлении.

– Что с тобой? – спросил дядя. – Что-нибудь не в порядке? Или у тебя нога уснула?

– Ты же сам только что сказал, что сейчас не вчерашний вечер.

– Конечно, нет, – сказал дядя. – Сейчас нет лошади, которая поджидает капитана Гуальдреса, чтобы его уничтожить, – если для этого нужна была лошадь. На сей раз у него имеется нечто гораздо более действенное и фатальное, нежели какая-то бешеная лошадь.

– Что именно?

– Голубка, – сказал дядя. – Так чего ты ползешь, как черепашка? Ты что, скорости боишься?

Они неслись вперед, примерно раза в два медленнее, чем Макс Гаррисс, по дороге, которую барон не успел заасфальтировать, что он непременно осуществил бы, отложив все прочие дела, если б только его вовремя предостерегли, причем не ради собственного удобства – ведь он по ней не ездил, а в Новый Орлеан и обратно летал на собственном самолете, и джефферсонцы видели его, лишь когда выезжали в окрестности его владений, – а ради уникальной возможности потратить кучу денег на предмет, которым он не только не владел, но, по мнению всех, кто его знал, даже никогда и не думал воспользоваться – точь-в-точь как Хью Лонг в Лу-

изиане стал основателем, владельцем и покровителем журнала – дядя считал его лучшим литературным журналом в мире, – вероятно, даже ни разу не заглянув в него и, не интересуясь, что думают о нем авторы и издатели этого журнала – во всяком случае, не больше, чем барон интересовался, что думают о нем фермеры, чья скотина без присмотра бродила по этой дороге и с ревом подыхала под торопливыми колесами автомобилей его гостей; теперь они с дядей быстро катили по этой дороге, а декабрьский день – шестой день зимы, как говорят старики, ведущие счет от первого декабря, – клонился к вечеру.

А дорога уходила к тем давним временам, когда здесь еще не знали гравия, петляла по рыжему грунту среди холмов, спрямлялась и чернела, опускаясь на плоскую плодородную равнину с жирной аллювиальной почвой, где тучные богатые поля кукурузы и хлопка вплотную подступали к ней, и она сужалась настолько, что здесь едва могли разминуться два человека, и ее обозначали только две тонких колеи от железных ободов телег и экипажей да отпечатки копыт лошадей и мулов в форме разорванной буквы О; дорога уходила к тем временам, когда ее прежний владелец, тесть нынешнего барона, три-четыре раза в год оставлял своего Горация и бокал с пуншем лишь затем, чтоб ненадолго съездить в город проголосовать на выборах, продать хлопок, побывать на похоронах или на свадьбе и возвратиться к пуншу и страницам латыни по тому же немощному грунту, на котором даже

подковы – если только лошади не бежали галопом – не производили ни малейшего звука, не говоря о колесах да и обо всем прочем, кроме скрипящей сбруи; возвратиться к своим землям, границы которых существовали только в его памяти и поддерживались доверием соседей, и которые даже не везде были огорожены, тем более заборами из жердей и досок, изготовленных на фабриках Гранд-Рapidс из стволов дуба и гикори, срубленных в лесах Лонг-Айленда и Виргинии; к газону, который в те дни был всего лишь лужайкой, заросшей лохматыми дубами, не знавшей садовых ножниц, секаторов, сучкорезов и газонокосилок, окруженных прозрачным туманом паров бензина; к дому, что был просто домом, служившим опорой для веранды, на которой он мог сидеть со своим серебряным бокалом и с книгой в потертom кожаном переплете; к саду, что был просто садом, тоже запущенным, густо заросшим неизменными вечными безымянными розами, кустами сирени, маргаритками и бессмертными стойкими флоксами, буйно расцветавшими вопреки осенней пыли, – все в той же скромной традиции долготерпенья и долговечности, что и оды Горация, и разбавленное виски.

Дядя сказал, что это покой. То есть в первый и единственный раз он сказал это двенадцать лет назад, когда ему, Чарльзу, не было еще и шести и он только-только начал понимать, что дядя имеет в виду:

– Не то что ты достаточно вырос, чтобы это слышать; просто я еще достаточно молод, чтобы это сказать. Через десять

лет я уже таким не буду.

А он спросил:

– Ты хочешь сказать, что через десять лет это будет неправда?

И дядя ответил:

– Я хочу сказать, что через десять лет я этого не скажу, потому что через десять лет я буду на десять лет старше, а единственное, чему учит нас возраст, – это не страх и уж никак не большее количество правды, но всего лишь стыд.

– Та весна, весна 1919-го, была как сад на конце туннеля, полного крови, нечистот и страха; целое поколение молодых людей всего мира жило в нем четыре года подобно обезумевшим муравьям, каждый сам по себе, в ожидании того мгновенья, когда придет его черед войти в ту безвестность, что таится за всей этой кровью и грязью; каждый сам по себе (что как раз и подтверждало одну из дядиных мыслей, а именно мысль о правде), вечно гадая, видят ли другие его страх так же ясно, как он сам. Ибо у пехотинца в те минуты, когда он ползет по земле, и у авиатора в уплотненные секунды отпущенного ему времени не больше друзей и товарищей, чем у свиньи над кормушкой или у волка в стае. А когда туннель наконец обрывается, и они – если им повезло – из него выходят, ни друзей ни товарищей у них по-прежнему нет. Ведь они (он, Чарльз, во всяком случае надеялся, что насчет стыда дядя был прав) потеряли нечто, некую часть своего существования, драгоценную и незаменимую, и она рассыпалась, рас-

сеялась, превратилась в общее достояние всех прочих лиц и тел, которые тоже остались в живых; я теперь уж не просто некий Джон Доу ¹⁰ из Джефферсона, я теперь и Джо Джинотта из Ист-Оранджа, штат Нью-Джерси, и Чарли Лонгфезер из Шошони, что в штате Айдахо, и Гарри Бонг из Сан-Франциско, а Гарри, Чарли и Джо все вместе составляют некоего Джона Доу из Джефферсона, штат Миссисипи. Но в эту сложную смесь по-прежнему входит каждый из нас, и потому мы не можем ее отвергнуть. Вот откуда взялись Американские Легионы. И хотя мы смогли спокойно примириться с тем, что на наших глазах сделали вполне реальные Чарли, Джо и Гарри в лице некоего воображаемого Джона Доу из Джефферсона, мы не можем отречься и уйти от того, что сделал этот Джон Доу, воплотившийся в реальных Гарри, Джо или Чарли. И поэтому Американские Легионы, пока они еще были молоды и верили в жизнь, сообща напились до потери сознания.

Ибо правильным было лишь замечание насчет стыда – ведь дядя высказал эту мысль двенадцать лет назад и с тех пор никогда больше ее не повторял. Ибо во всем остальном он ошибся – ведь даже двенадцать лет назад, когда ему было только под сорок, он уже потерял связь с настоящей правдой, а именно: человек идет на войну (а молодые люди всегда идут на войну) ради славы, ибо нет иного, столь же славного

¹⁰ Джон Доу – анонимный, воображаемый истец в судебном процессе; средний человек, «человек с улицы» (*прим, перев.*).

способа ее добиться, а риск и страх смерти – не только единственная цена, за которую стоит купить то, что человек купил, но и самая низкая, какую могут с него запросить, и трагедия состоит не в том, что он умирает, а в том, что его здесь больше нет и он этой славы не увидит; он не хотел уничтожить жаждущее славы сердце, он хотел утолить эту жажду.

Но это было двенадцать лет назад; теперь дядя сказал только:

– Остановись. Я сяду за руль.

– Нет, не сядешь, – сказал он. – Мы и так едем достаточно быстро.

Оставалось не больше мили до белого забора, а когда они проедут две, то доберутся до ворот и даже увидят дом.

– Покой, – сказал дядя. – Я из-за него сперва даже не спал по ночам. Но не в том дело, спать я не хотел, я не хотел пропустить эту бесконечную тишину, мне хотелось просто лежать в постели и в темноте вспоминать, что впереди завтра и завтра, и полная красок весна – апрель, май и июнь, ничем не занятое утро, полдень и вечер, а потом снова стемнеет и воцарится тишина, в которой можно просто лежать, ибо спать мне было не нужно. А потом я увидел ее. Твоя мать ошибалась. Она была совсем не похожа на раздетую куклу. Она была похожа на девочку, которая сидит в домике-кажете и играет во взрослую, причем играет с убийственной серьезностью – так внезапно осиротевшая малышка лет двенадцати, на чьи плечи свалились заботы о целом вывод-

ке младших братишек и сестреноч, а может и о престарелом дедушке, кормит младенцев, меняет и стирает им пеленки; сама совсем еще дитя, она неспособна даже косвенно заинтересоваться той таинственной страстью, которая произвела их на свет, а тем более вникнуть в смысл этой тайны и осознать свое прямое к ней отношение, хотя лишь это могло бы помочь ей нести тяжкое бремя, связанное с их кормежкой, или просто понять его необходимость.

Разумеется, ничего подобного и в помине не было. У нее был только отец, да и вообще дело обстояло как раз наоборот: отец не только вел хозяйство и на земле и в доме, но распоряжался им так, что из плуга всегда можно было выпрячь лошадей и вместе с погонщиком отправить за шесть миль в город допотопную карету, на необъятных подушках которой она, эта сдержанная, тихая и скромная девочка, на десять лет отставшая от своего возраста и на пятьдесят лет – от своей эпохи, напоминала старинную миниатюру. На меня она произвела впечатление девчушки, которая играет в дочки-матери в этом глухом, неподвластном времени саду на конце вонючего кроваво-красного туннеля, и однажды я вдруг окончательно и бесповоротно понял: просто тишина это еще не мир. Это произошло, когда я увидел ее в третий, в десятый или в тридцатый раз, точно не помню, но однажды утром я очутился возле остановившейся кареты с босоногим негром на козлах, а она, словно картинка со старинной открытки с поздравлением по случаю Валентинова дня или с

коробки конфет производства 1904 года, на фоне полинялого засаленного необъятного сиденья (когда карета проезжала мимо, снаружи виднелась только ее рука, а сзади даже и руки не было видно, хотя упряжку вместе с кучером оторвали от плуга явно не для того, чтобы тот один прокатился в город и обратно); однажды утром я очутился возле остановившейся кареты, по обе стороны которой с пронзительным скрежетом и ревом проносились яркие блестящие новые автомобили – ведь мы выиграли войну, и теперь каждый человек разбогател, а на земле воцарится вечный мир.

«Я Гэвин Стивенс, – сказал я. – И мне скоро стукнет тридцать лет».

«Я знаю», – отозвалась она.

Однако хоть мне еще не исполнилось тридцати, я чувствовал себя тридцатилетним. Ей было шестнадцать. А как (по обычаю тех времен) сказать девочке: «Назначьте мне свидание»? И как тридцатилетнему в этом случае себя вести? Ведь нельзя же просто пригласить это дитя – надо обратиться за разрешением к родителям. Вот почему, когда начало смеркаться, я остановил автомобиль твоей бабушки у ворот и вышел. В то время там был сад, а не мечта пейзажиста-цветовода. Он занимал гораздо больше места, чем расстеленные рядом пять или шесть ковров; там были старинные кусты роз и чашецвета, некрашенные полуразвалившиеся беседки и решетки для вьющихся растений, клумбы с многолетними цветами, что размножаются самосевом без докучливой посто-

ронней помощи и без помех, а посреди всего этого стояла она и смотрела, как я вхожу в ворота и шагаю по тропинке, смотрела до тех пор, пока я не скрылся у нее из виду. И я знал, что она не сойдет с того места, где стоит, и поднялся по ступенькам на веранду, где старый джентльмен сидел в своем кресле из гикори, у ног его притулился щенок-сеттер, а на столе стоял серебряный бокал и лежала книга с пометками, и я сказал:

«Позвольте мне с нею обручиться (заметь, как я это выразил – мне с нею). Я знаю, – сказал я, – знаю: не теперь. Просто позвольте нам обручиться, и нам даже не надо будет снова об этом вспоминать».

А она так и не сошла с того места, где стояла, и даже не пыталась слушать. Впрочем, она стояла слишком далеко, и оттуда ничего нельзя было услышать, да она в том и не нуждалась; она просто стояла в сумеречной полутьме и даже не пошевелилась, не отпрянула, вообще никак не отозвалась, и мне самому пришлось поднять ее лицо, что, впрочем, потребовало не более усилий, чем если бы я поднял ветку жимолости. Ощущение было такое, словно я пригубил щербет.

«Я не умею, – сказала она. – Вам придется меня научить».

«Ну и не учитесь, – отозвался я. – Хорошо и так. Это совсем не важно. Вам вовсе не надо учиться».

Это и вправду было как щербет: конец весны, лето и долгий конец лета, тьма и тишина; а ты лежишь, вспоминая вкус щербета; ты не пробуешь его снова, ибо пробовать щербет

снова нет никакой нужды, для этого не надо много щербета – ведь вкус его не забывается. Потом настала пора возвращаться в Германию, и я привез ей кольцо. Я сам продел в него ленточку.

«Вы хотите, чтоб я его пока не носила?» – сказала она.

«Да, – сказал я. – Нет, – сказал я. – Ладно. Если хотите, можете повесить его сюда, на куст. Это всего лишь цветная железка с осколком стекла, она, наверно, и тысячи лет не продержится».

– И я вернулся в Гейдельберг, и каждый месяц приходили письма, в которых говорилось ни о чем. Да и как могло быть иначе? Ей было всего шестнадцать лет, а разве с шестнадцатилетними случается что-нибудь, о чем можно написать или даже рассказать? И каждый месяц я ей отвечал, и в моих письмах тоже говорилось ни о чем, да и как шестнадцатилетняя могла перевести письмо, если я сам ей его не перевел? И этого я так никогда и не узнал, – закончил дядя.

Теперь они уже почти добрались до места, и он, Чарльз, сбавил скорость, чтобы въехать в ворота.

– Я не понял, не как она сумела перевести с немецкого, – сказал дядя, – а как человек, который перевел ей с немецкого, перевел также и с английского.

– С немецкого? – удивился он. – Ты писал ей на немецком?

– Было два письма, – сказал дядя. – Я написал их одновременно. И перепутал конверты. – Потом дядя крикнул: –

Осторожно! – и даже потянулся к рулю. Но он, Чарльз, успел выровнять машину.

– Второе письмо тоже было к женщине, – сказал я.

– Она была русская, – сказал дядя. – Она бежала из Москвы. Это стоило больших денег, которые пришлось выплачивать по частям, долгое время и разным людям. Она тоже прошла войну. Я познакомился с ней в Париже, в 1918-м. Когда я осенью девятнадцатого года возвращался из Америки в Гейдельберг, я думал, я был даже уверен, что забыл ее. Но однажды, посреди океана, я вдруг обнаружил, что не вспоминаю о ней с весны. И тогда я понял, что я ее не забыл. Я переменял билет, поехал сначала в Париж, и мы условились, что она последует за мной в Гейдельберг, как только кто-нибудь завизирует ей те документы, которые у нее были. Я обещал писать ей каждый месяц, пока мы будем этого ждать. А может, пока ждать буду я. Ты должен учесть мой возраст. Я тогда был европейцем. Я переживал свойственный каждому чуткому американцу критический период, когда он верит, что если в будущем американцы смогут претендовать даже не на человеческий дух, а хотя бы просто на элементарную цивилизацию, то она придет из Европы. Но, может, я ошибся. Может, дело было просто в щербете, и не то чтобы щербет был мне противопоказан или вовсе на меня не действовал, но просто был мне ни к чему, а написал я эти два письма одновременно оттого, что сочинение одного из них не требовало никаких умственных усилий, и это

письмо вышло откуда-то из внутренностей и добиралось до пальцев, до кончика пера и чернил обходным путем, минуя мозг; вследствие чего я даже никогда так и не смог вспомнить содержания письма, которое попало не по адресу, хотя особых сомнений это и не вызывало; мне никогда не приходило в голову обращаться с этими письмами поаккуратнее – ведь они существовали как бы в разных мирах, хотя их писала одна и та же рука на одном и том же столе на сменявших друг друга листах бумаги одним и тем же почерком при свете одного и того же электричества, за которое были заплачены те же два пфеннига в течение того самого промежутка времени, когда под движущуюся стрелку уползал один и тот же сектор циферблата.

Но вот они приехали. Не успел дядя сказать ему: «стоп», как он уже поставил автомобиль на пустую подъездную дорожку, слишком широкую даже для многоместного автофургона, двух-трех автомобилей с откидным верхом и одного лимузина, да еще какого-нибудь средства передвижения для прислуги; а дядя, не дожидаясь полной остановки, выскочил из машины и направился к дому, в то время как он, Чарльз, еще только заканчивал фразу:

– Мне ведь не надо туда идти?

– По-моему, ты уже зашел слишком далеко, чтобы теперь бить отбой, – сказал дядя.

Тогда он тоже вышел из автомобиля и по дорожке, слишком широкой и вымощенной слишком большим количе-

ством плит, вслед за дядей зашагал к боковой галерее – будучи всего лишь боковой, она вполне годилась для размещения президента вместе с кабинетом министров или Верховным судом, хоть и была, пожалуй, маловата для конгресса; весь же дом напоминал нечто среднее между достойным самого Гаргантюа гигантским свадебным тортом и свежесве-денным цирком шапито; а дядя, не замедляя шага, шел впе-реди и продолжал:

– Мы испытываем странное равнодушие к некоторым весьма разумным иностранным обычаям. Вообрази, какой получился бы великолепный костер, если пропитать бензи-ном шпалы, устроить из них помост, водрузить на верхушку гроб и спалить весь этот дом заодно с его строителем.

Потом они вошли внутрь; чернокожий дворецкий, отво-рив им дверь, мгновенно исчез, и они с дядей остались сто-ять в комнате, где капитан Гуальдрес (если допустить, что он кавалерист или когда-нибудь был таковым) мог бы устро-ить смотр своему эскадрону, к тому же еще и верхами; впро-чем, он, Чарльз, мало что там заметил, кроме опять-таки ор-хидей, – он узнал их сразу, не удивившись и даже не обратив на них особого внимания. А потом он забыл даже об их при-ятном запахе и огромных размерах, потому что вошла она – ее шаги слышались сначала в прихожей, затем в комнате, но он еще до этого ощутил аромат, словно кто-то нечаянно, неуклюже, по ошибке выдвинул ящик старинного комода, и сорок служанок в туфлях на резиновых подошвах ошалело

понеслись по длинным коридорам и комнатам, уставленным сверкающими хрустальными вазами, чтобы поскорее задвинуть этот ящик обратно, – вошла в комнату, остановилась, и даже не успев взглянуть на него, Чарльза, протянула руки ладонями вперед, потому что дядя, который так и не остановился, уже шел ей навстречу.

– Я Гэвин Стивенс, и мне теперь без малого пятьдесят лет, – сказал дядя, приближаясь к ней даже после того, как она отступила, попятилась назад, воздевая вверх руки, обращенные ладонями к дяде, а дядя шел прямо к этим рукам, хотя она все еще пыталась удержать его настолько, чтобы успеть изменить свое намерение повернуться и убежать, но увы – слишком поздно – конечно, при условии, что именно так она хотела или, во всяком случае, считала нужным поступить – слишком поздно, и потому дядя тоже смог остановиться и, обернувшись, на него посмотреть.

– Ну, что дальше? – спросил дядя. – Может, ты все-таки что-нибудь скажешь? Хотя бы: «Здравствуйте, миссис Гаррисс»?

Он начал было говорить: «Простите», однако тотчас придумал нечто лучшее.

– Да благословит вас Бог, дети мои, – сказал он.

V

Была суббота. Завтра седьмое декабря. Но еще до его отъезда витрины магазинов уже сверкали игрушками, искрились искусственным снегом и мишурой, а предвкушение и запах Рождества бодрили и веселили как любым другим декабрем любого другого года, хотя грохот орудий, свист пуль и звук разрываемой ими человеческой плоти уже всего через несколько месяцев или даже недель начнет отдаваться эхом прямо здесь, в Джефферсоне.

Но когда он увидел Джефферсон в следующий раз, была весна. Фургоны и пикапы фермеров с холмов, пяти и десятитонные грузовики плантаторов и торговцев с поймы уже стояли под погрузкой возле семенных лавок и складов минеральных удобрений, а тракторы и запряженные парами или тройками мулы скоро потянут по темным, пробуждающимся от зимней спячки полям плуги, бороны, дисковые культиваторы и душителы; скоро зацветет кизил и закричат козодои; однако шел всего только 1942 год, и оставалось еще некоторое время до того, как по телефонным проводам начнут передавать телеграммы Военного и Морского министерства, а в какой-нибудь четверг утром сельский почтальон опустит в почтовые ящики еженедельник «Йокнапатофский Горн» с фотографией и кратким извещением о смерти, уже слишком хорошо знакомым, но все еще загадочным, как санскрит или

китайская грамота; на фотографии будет изображено лицо деревенского парня, слишком юное для взрослого мужчины, чье обмундирование, недавно снятое с полки интендантского склада, все еще хранит на себе складки, а в извещении будут упомянуты названия географических пунктов, о которых те, кто произвели на свет это лицо и эту плоть, – очевидно, лишь затем, чтобы они могли в муках расстаться с жизнью, – никогда и слыхом не слыхали и уж конечно не знают, как их произносить.

Генеральный инспектор был прав: Бенбоу Сарторису, который стоял в списке класса всего лишь на девятнадцатом месте, уже присвоили офицерское звание, и теперь он служит в Англии на каком-то сугубо секретном объекте. Что – если учесть первое место, которое он, Чарльз, занимал в списке батальона, а также звание курсанта-полковника – мог бы делать и он, пока еще не стало слишком поздно, но, как всегда, ему не повезло, и у него не было даже ни офицерского ремня с портупеей, ни сабли, а была всего лишь голубая лента на фуражке, и хотя тот факт, что он курсант-полковник, да еще и первый в списке, может, и сократил немного предполетную подготовку, все равно пройдет никак не меньше года, прежде чем крылышки перекочат с фуражки на свое место над левым нагрудным карманом (он надеялся, что вместе со щитом пилота посредине, или хотя бы с глобусом штурмана, или, на худой конец, с бомбой бомбардира).

И ехал-то он даже не домой, а только мимо дома по пу-

ти от предполетной подготовки к основной, в конце концов на настоящих самолетах, и задержался здесь лишь для того, чтобы мать успела сесть на тот же поезд и проводить его до узловой станции, где он переседет на другой поезд, идущий в Техас, а она вернется обратно на следующем местном; и вот уже совсем близко, вот начинаются знакомые места: привычные пересечения дорог, поля и леса, в которых он бродил ребенком, подростком, а потом, когда вырос настолько, что ему уже доверили ружье, охотился на кроликов и стрелял влет куропаток.

Потом пошли убогие трущобы, живучие и долговечные, знакомые, как его собственная прожорливая, жадная и ненасытная душа или тело – руки, ноги, волосы и ногти; показались первые негритянские лачуги, некрашенные, ветхие, и постепенно становилось ясно, что они не просто обветшали, а немножко, совсем немножко скособочились, и не просто отклонились от вертикали, а вообще не имеют к ней никакого отношения, словно их задумал и построил в совершенно другой системе координат другой архитектор для совершенно другой цели и, во всяком случае, у них совсем другое прошлое – они уцелели, сохранились, не ведая о непогоде и суровом климате и неподвластные ему, и стоят себе, каждая в своем миниатюрном, заросшем, как дикие джунгли, но ухоженном огорожке, и у каждой в загончике, слишком тесном для вольготной жизни любой свиньи, тем не менее процветает поросенок, стоит на привязи корова, гуляет стайка кур;

и все вместе взятое – лачуга, отхожее место, умывальник под навесом и колодец – кажется чем-то временным, неосновательным, чужеродным и тем не менее незыблемым и долговечным, как пещера Робинзона Крузо; а еще дальше – дома белых, размером не больше негритянских, однако отнюдь не лачуги (попробуйте в присутствии хозяев назвать их так, и неприятностей не оберетесь); они выкрашены или, во всяком случае, когда-то были выкрашены, и все их отличие от негритянских состоит лишь в том, что в них не так чисто.

И вот, наконец, родные места – мощный перекресток близ дома, в котором он родился; над деревьями уже показался и тотчас скрылся из виду резервуар с водой и золотой крест на шпилье епископальной церкви; как восьмилетний мальчик, он прижимается лицом к закопченному стеклу; поезд замедляет ход на грохочущих, лязгающих стрелках среди крытых товарных вагонов, вагонов для перевозки скота, цистерн и открытых платформ; и вот все они здесь, он смотрит на них глазами восьмилетнего мальчика, слегка потрясенного несоразмерностью этих мелких, но в то же время поразительно стойких человечков с необъятной громадой Земли – его мать, его дядя, его новая тетя; мать двадцать лет была замужем за одним человеком и вырастила другого, а новая тетя примерно за это же время была замужем за двумя, а другие двое в ее собственном доме, у нее на глазах дрались конями и швабрами – и потому он не удивился и даже не совсем понял, как все это случилось: мать уже вошла в вагон,

новая тетья вернулась к стоящему в ожидании автомобилю, а они с дядей обменивались прощальными словами:

– Ну что ж, сударь, – говорит он, – вы не только лишний раз сходили по воду, вы даже бросили в колодец кувшин и сами прыгнули туда вслед за ним. Я привез вам весточку от вашего сына.

– От кого? – удивился дядя.

– Ладно, – говорит он. – От вашего зятя. От мужа вашей дочери. От того, который вас не любит. Он посетил лагерь, чтобы со мной повидаться. Он теперь кавалерист. То есть, я хочу сказать, солдат американской... – и занудливо, со скукой в голосе резюмирует: – Понимаешь? Как-то вечером один знакомый американец пытался убить его при помощи лошади. На следующий день он женился на сестре этого американца. А еще через день один японец сбросил бомбу на другого американца на маленьком островке за две тысячи миль оттуда. И потому на третий день он добровольно вступил в армию – не в свою армию, в которой он уже состоял офицером резерва, а в иностранную, тем самым отказавшись не только от своего офицерского чина, но и от своего гражданства, и наверно воспользовался услугами переводчика, чтоб объяснить свои намерения и своей молодой жене, и своему приемному правительству... – продолжая свое резюме, он вспоминает – не изумленно, а если даже и изумленно, то с неподвластный времена я усталости изумлением ребенка, который, точно так же презрев усталость и время, не сво-

дит глаз с одного и того же ярмарочного балагана, – вспоминает тот день, когда он ни с того ни с сего был вызван в канцелярию подразделения, а там его ждал капитан Гуальдрес в форме рядового, больше чем когда-либо прежде смахивающий на лошадь, быть может оттого, что он сам выбрал для себя то единственное на всей поверхности земли положение или место – а именно кавалерийский полк армии Соединенных Штатов в 1942 году, – где ему до конца войны ни разу не придется иметь дело с лошадьми, – и он, Чарльз, продолжает: – Он казался не храбрым, а скорее неукротимым, оя не предлагал свою жизнь никому, никакому правительству ни в качестве благодарности за что-либо, ни в качестве протеста против чего-либо, словно в этот последний решающий миг он был столько же склонен к притворным сентиментам по поводу праздного свиста шальных пуль, которые могут посыпаться на него в будущем, сколько по поводу праздного топота хрупких лошадиных копыт в прошлом; он не питал ненависти ни к немцам, ни к японцам, ни даже к Гарриссам, а воевать с немцами пошел не потому, что они опустошили целый континент и превращали в удобрения я смазочное масло целый народ, но потому, что они исключили лошадей из кавалерии цивилизованных стран; а когда я вошел в канцелярию, он встал со стула и сказал: «Я прибыл сюда затем, чтоб вы могли меня видеть. Теперь вы меня видите. Теперь вы возвращаетесь к вашему дяде и говорите ему: „Быть может, вы теперь удовлетворены“».

– Что? – спросил дядя.

– Я тоже не знаю, что – отвечал он. – Он сказал, что при-
был туда аж из самого Канзаса, чтоб я мог увидеть его в этом
коричневом обмундировании, а потом вернуться к тебе и
сказать: «Может, вы теперь удовлетворены».

Но вот настало время ехать; ручную тележку для сроч-
ной клади уже откатали от дверей багажного вагона, а слу-
житель даже высунулся наружу, оглядываясь назад; провод-
ник, мистер Мак-Уильямс, с часами в руках стоял на сту-
пеньках тамбура, но, по крайней мере, не прикрикивал на
него, Чарльза, ибо он, Чарльз, был в военной форме, а в 1942
году штатские еще не успели привыкнуть к войне. И потому
он сказал:

– Да, чуть не забыл. Те письма. Два письма. Два перепу-
таных конверта.

Дядя взглянул на него:

– Ты не любишь совпадений?

– Я их обожаю, – сказал он. – Совпадение – одна из са-
мых важных вещей в жизни. Как девственность. Но как и
девственностью, совпадением можно воспользоваться толь-
ко один раз. Свою девственность я покуда намерен прибе-
речь.

Дядя окинул его загадочным, недоуменным, печальным
взглядом.

– Смотри, – сказал он. – А то можешь попробовать. Ули-
ца. В Париже. Внутри квартала, про который у нас в Йок-

напатофе сказали бы, что это – точная копия Буа-де-Болонь среднего размера; настолько новая, что свое название она получила лишь незадолго до последних сражений 1918 года и Версальского договора, и, следовательно, в то время ей было меньше пяти лет; она была такой изысканной и скромной, что ее местоположение знали только мусорщики да служащие бюро по найму старших лакеев и младших секретарей иностранных посольств. Впрочем, неважно, теперь ее уже не существует, и к тому же ты все равно туда не попадешь и ничего там не увидишь, если бы даже она и существовала.

– Может, я туда пойду, – сказал он. – Может, я посмотрю, где она была.

– Ты можешь сделать это здесь. В библиотеке. Открой соответствующую страницу Конрада и ты увидишь тот самый навощенный пол, покрытый красным и черным кафелем; мебель, отделанную золоченой бронзой; фаянсовые вазы, буль – все вплоть до высокого зеркала, которое, подобно серебряному блюду, сгустило и вобрало весь дневной свет, и в чьих глубинах, подобно лилии, плывущей на собственном отражении, затаился этот невинный, гладкий, чуждый мысли лоб, отмеченный лишь отпечатком верности и скорби...

– Откуда ты узнал, что она там? – спросил он.

– Прочел в газете, – ответил дядя. – В парижском издании «Геральда». Правительство Соединенных Штатов (получив короткую передышку) стало неплохо освещать действия своего первого экспедиционного корпуса во Франции. Од-

нако его успехи были ничто по сравнению с тем, как парижское издание «Геральда» освещало действия второго экспедиционного корпуса, который начал высаживаться в Европе в 1919 году.

Однако на челе женщины, к которой они тогда приехали, не отпечталось ровно ничего; она по-прежнему напоминала девочку, которой теперь уже все на свете помогали играть в королеву, и на сей раз никто не явился воздать должное умершему, ибо человек, чью весточку этот посетитель ей принес, отнюдь не умер, он отправил своего посланца из далекого Гейдельберга не с известием, а с требованием: он хотел узнать, что произошло. Вот почему вопрос об этом задал я. «Но почему вы меня не дождались? Почему вы не телеграфировали?»

– И она ответила? – спросил он, Чарльз.

– Разве я не говорил тебе, что это чело не было омрачено даже нерешительностью, – отозвался дядя. – Она ответила: «Вы во мне не нуждались, – сказала она. – Я была для вас недостаточно умна».

– А ты что сказал?

– Я тоже дал правильный ответ, – промолвил дядя. – Я сказал: «Здравствуйте, миссис Гаррисс». Ну как, сойдет?

– Вполне, – сказал он.

Теперь и в самом деле пора было ехать. Машинист даже дал ему свисток. Мистер Мак-Уильяме ни разу не крикнул: «Садись, парень, если хочешь с нами ехать!», как поступил

бы пять лет (а впрочем, даже и пять месяцев) назад; он, этот человек, который, когда не спал, непрерывно разговаривал, который ничуть не пожалел бы своих голосовых связок, чтоб на него прикрикнуть, единственно из уважения к его еще не испытанной в деле военной форме не издал ни звука; вместо этого, лишь потому, что он носил эту форму, локомотив нетерпеливо выпустил две коротких острых струйки пара – дипломированный специалист, повелевающий стотонной машиной ценою в сто тысяч долларов, потратил на три или четыре доллара угля и несколько струй добытого тяжким трудом пара, дабы напомнить восемнадцатилетнему юнцу, что он уже достаточно посплетничал со своим дядей, и он, Чарльз, подумал: наверно, эта страна, этот народ, этот образ жизни и в самом деле непобедимы, если они способны не только примириться с войной, но и мгновенно к ней приспособиться, заключив с нею сделку, так сказать, левой рукой, причем не отвлекая, не рассеивая, даже не приковывая к ней внимания правой руки, которая по-прежнему делает свое стародавнее, изначальное, извечное дело.

– Да, – сказал он. – Так лучше. Я даже готов этому поверить. И это было двадцать лет назад. И тогда это было правильно или, по крайней мере, достаточно для тебя тогда. Но прошло двадцать лет, и теперь это неправильно, или, по крайней мере, недостаточно, или, по крайней мере, недостаточно для тебя теперь. Интересно, как одни только годы все это сделали?

– Они сделали меня старше, – сказал дядя. – Я изменился к лучшему.